

УДК 81'23(075.8)
ББК 81я73
Н83

*Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
Белорусского государственного университета*

Рецензент
заведующая кафедрой речеведения и теории
коммуникации МГЛУ, доктор филологических наук,
профессор *Т. В. Поплавская*

Норман, Б. Ю.

Н83 Основы психолингвистики : курс лекций / Б. Ю. Норман. –
Минск : БГУ, 2011. – 131 с.
ISBN 978-985-518-497-4.

В курсе лекций по психолингвистике рассказывается об истории возникновения этой молодой науки, о ее основных понятиях, достижениях и перспективах. В центре внимания – процессы речевой деятельности: переход от замысла к тексту и от восприятия текста к его пониманию. Автор на конкретных примерах из разговорной речи и художественных текстов показывает, по каким правилам говорящий строит высказывание, а слушающий адекватно его понимает.

Для преподавателей, студентов и аспирантов филологических специальностей.

**УДК 81'23(075.8)
ББК 81я73**

ISBN 978-985-518-497-4

© Норман Б. Ю., 2011
© БГУ, 2011

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга представляет собой курс лекций по психолингвистике, который автор читал во многих университетах разных стран.

Текст «Основ психолингвистики» соответствует лекционному жанру, которому свойственны определенные особенности стиля, черты устной речи, обращенной к группе слушателей: повествование от 1-го лица, риторические вопросы, подчеркивание кульминационных моментов и другие стилистические фигуры. Все эти приемы рассчитаны на интерактивный характер общения.

Лекционной же природой книги объясняется то, что ссылки на научную литературу нередко даются так, как это обычно делает лектор: «внутри текста», неполно, в расчете на то, что студент дальше сам найдет нужную книгу по каталогу или поисковику. Впрочем, в конце пособия читатель обнаружит краткий список рекомендуемой литературы, оформленный по правилам.

Психолингвистика – молодая наука, пытающаяся объяснить те вещи, которые трудно поддаются истолкованию в терминах традиционного языкознания. В частности, оказывается, что появление у слова неожиданного оттенка значения может быть связано с его фонетическим обликом. Пристрастие говорящего к тем или иным оборотам речи «уходит корнями» в его индивидуальную психику (а иногда даже помогает врачам установить диагноз). Привычная для нас сочетаемость слов может не только облегчать восприятие текста, но и вводить в заблуждение. Случаи коммуникативных неудач (неправильного или неполного понимания) нередко объясняются тем, что у участников диалога разные психологическая установка, пресуппозиции и коммуникативные цели. Даже традиционные для языкознания понятия синонимии и омонимии получают применительно к деятельности говорящего и слушающего новую трактовку...

Поэтому психолингвистике изначально был присущ некоторый флер загадочности, или таинственности: ведь она изучает работу механизмов мозга. По сути же это пограничная, промежуточная дисциплина, и каждая из ее двух сторон – психологическая и лингвистическая – может быть акцентирована. В данном случае процессы речевой деятельности рассматриваются «глазами

языковеда», а потому столь большое внимание в лекциях уделяется художественным текстам как материалу для анализа. Велико для психолингвистики и значение наблюдений над фактами спонтанной разговорной речи – они также находят свое отражение в курсе лекций.

Психолингвистика – экспериментальная наука. Это значит, что наряду с наблюдениями исследователь активно пользуется услугами испытуемых, с помощью которых можно смоделировать те или иные речевые явления и ускорить получение результатов. Вместе с тем предлагаемый курс носит вводный характер, и по этой причине в книге нет ни подробного описания экспериментальных методик, ни статистических оценок получаемых результатов. Важнее всего лектору изложить принципы и достижения этой науки максимально просто и доступно, чтобы заинтересовать, а не отпугнуть молодого исследователя.

Остается добавить, что начала некоторых изложенных здесь мыслей и наблюдений восходят к предыдущим книгам автора – «Синтаксис речевой деятельности» (Минск, 1978) и «Грамматика говорящего» (СПб., 1994; 2-е изд. М., 2010).

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

Психолингвистика – сравнительно новая лингвистическая дисциплина, возникшая на стыке языкознания и психологии. Что изучает эта наука? Можно сказать, что она занимается всем, что имеет отношение к языку как деятельности. Если использовать термины, введенные основателем современного языкознания швейцарцем Фердинандом де Соссюром (1857–1913), то объект психолингвистики – это *langage* (речевая деятельность), – то, что сводит воедино *langue* (язык) и *parole* (речь). А если заглядывать еще дальше в историю науки, то объект психолингвистики был сформулирован гениальным немецким ученым Вильгельмом фон Гумбольдтом (1767–1835). Гумбольдт писал: «Язык следует рассматривать не как мертвый продукт (*Erzeugtes*), но как созидающий процесс (*Erzeugung*)». И тут же он пояснял это различие с помощью греческих названий: «Язык есть не продукт деятельности (*Ergon*), а деятельность (*Energiea*)».

Говоря современными терминами, **психолингвистика изучает процесс порождения текста** (претворения исходной интенции и смысла в окончательный продукт – текст) **и процесс восприятия текста** (путь от слуховой или зрительной перцепции до полного понимания). Этим занимается **общая психолингвистика**. Но, кроме обычного и естественного случая передачи информации от человека к человеку, могут быть особые случаи речевой деятельности, которые интересуют **специальную психолингвистику**. Кратко их перечислю.

А. Порождение и восприятие художественного текста. Понятно, что здесь, кроме передачи объективной, «рациональной» информации, имеет место передача информации эстетической, и это составляет отдельную сферу знаний. Возникает даже особое название для данного направления науки: *психопоэтика*.

Б. Освоение и использование языка в детском возрасте. Появилось специальное название и для этого ответвления языкознания: *онтолингвистика* (см. работы российских авторов А. М. Шахнаровича, Н. И. Лепской, С. Н. Цейтлин, Т. А. Гридиной и др.). Многие авторы считают, что изучение особенностей становления речи у ребенка

может пролить свет на природу филогенеза, т. е. на происхождение языка как такового, человеческого языка вообще.

В. Порождение и восприятие текста в условиях шума. Шум понимается здесь не в акустическом, а в информационном плане: это всякого рода помехи нормальному процессу. В том числе человек может быть больным, очень усталым, нетрезвым, находиться под гипнозом или в состоянии аффекта; могут быть также технические помехи в канале информации и т. д.

Г. Использование языка при расстройствах речи, связанных с заболеваниями нервной системы. Это прежде всего различные виды афазии (речевых расстройств). Обобщение наблюдений и экспериментов в данной области позволило сформироваться пограничной дисциплине *нейролингвистике*.

Д. Порождение и восприятие текста с учетом различных национально-культурных характеристик: особенностей темперамента, статусно-ролевых, гендерных и тому подобных отличий в условиях разных социумов. Сопоставление соответствующих данных создает основу для типологии, т. е. классификации; есть у этого направления и точки соприкосновения с теорией и практикой перевода.

Е. Речевая деятельность под углом зрения криминалистики, судебной медицины, инженерной психологии – это всё прикладные аспекты психолингвистики. Сюда же относится составление «речевого портрета» личности и т. п.

Здесь самое время подчеркнуть, что психолингвистика – преимущественно экспериментальная дисциплина. Разработаны десятки методик психолингвистических экспериментов, иногда весьма тонких и трудоемких. Но главное – результаты этих опытов могут быть воспроизведены, проверены на новом материале, а значит, они объективны и достоверны.

Хотя психолингвистика – молодая наука, сами проблемы выбора языковых единиц и эффективности речевого общения всегда волновали людей. Очень полезно в этом отношении сравнить высказывания философов, естествоиспытателей, писателей и поэтов о том, как связаны между собой мышление и язык. Поэтому далее я предложу небольшой обзор цитат на интересующую нас тему.

У замечательного русского поэта Ф. И. Тютчева (1803–1873) есть стихотворение «Silentium!» с такими строками:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.

В этих строках заключен пессимизм и агностицизм. Их смысл таков: язык бессилен выразить всю глубину мысли. Как только мысль получает словесное выражение, она становится «ложью», т. е. искажается. Не стоит надеяться, что один человек способен понять другого. Само название стихотворения в переводе с латинского означает «Молчание!». И все-таки спросим себя: стал бы сам Тютчев писать свое стихотворение (да и десятки других лирико-философских произведений), если бы дело с пониманием обстояло так безнадежно?

А вот что писал всемирно признанный ученый, создатель теории относительности Альберт Эйнштейн (1879–1955):

«Слова, или язык, как они пишутся или произносятся, не играют никакой роли в моем механизме мышления. Психические реальности, служащие элементами мышления, это некоторые знаки или более или менее ясные образы, которые могут быть «по желанию» воспроизведены и комбинированы. Конечно, имеется некоторая связь между этими элементами и соответствующими логическими понятиями... Вышеупомянутые элементы в моем случае носят зрительный и мускульный характер. Обычные и общепринятые слова с трудом подбираются лишь на следующей стадии...» (из письма к математику Жаку Адамару).

И здесь, как мы видим, языку по отношению к мысли отводится довольно случайная и поздняя роль («слова с трудом подбираются лишь на следующей стадии»). Надо сказать, что лингвисты попытались придать «психическим реальностям», о которых говорит великий физик, более четкий вид. Я имею в виду, в частности, «универсальный предметный код» Н. И. Жинкина, но об этом речь еще впереди.

Приведу теперь свидетельство русского прозаика Константина Паустовского (1892–1968):

«Пока еще я сам не знаю, что буду писать. Мысль существует во мне как волнение, как желание передать другим все то, что наполняет сейчас мой разум, мое сердце, все мое существо. Мысль живет во мне, но во что она выльется, какие найдет пути для своего выражения, мне не ясно еще самому» («Золотая роза»).

Итак, по Паустовскому, мысль не только существует до слова, но и совершенно неизвестно, в какие языковые формы она воплотится. Вместе с тем стоит обратить внимание на представленное в цитате единство рационального начала («мысль», «разум») и эмоционального («волнение», «желание», «сердце»). Для художника они неразделимы.

Писатель Юрий Олеша (1899–1960) всю жизнь вел что-то вроде литературного дневника. Он назвал эту книгу «Ни дня без строчки». И в ней есть очень интересные наблюдения над сущностью литературного процесса. Например:

«Далее – *девочки с цветами на шляпах*. Я долго не мог решить: написать ли «девочки с цветами на шляпах» или «девочки в шляпах с цветами». Когда пишешь, ощущаешь в себе работу очень сложной, громадной и таинственной машины. Какие-то рычаги этой машины вытаскивают воспоминания. Водя пером и следя, скажем, за синтаксисом, в то же время чувствуешь, как возникает где-то в глубине перед умственным взором воспоминание».

Как мы видим, Олеша рассматривает внутреннюю связь языковых и мыслительных структур применительно к конкретным примерам. Действительно, как лучше сказать: *девочки с цветами на шляпах* или *девочки в шляпах с цветами*? Вроде бы примерно одно и то же, но... «Девочки в шляпах с цветами» могут эти цветы держать и в руках, а вот выражение *девочки с цветами на шляпах*, кажется, более однозначно. Причем с подобными колебаниями мы сталкиваемся ежедневно и ежечасно в нашей жизни...

В эту краткую подборку высказываний о соотношении мышления и языка стоит включить еще цитату из интервью нобелевского лауреата по литературе Иосифа Бродского (1940–1996):

«Поэт работает с голоса, со звука. Содержание для него не так важно, как это принято думать. Для поэта между фонетикой и семантикой разницы почти нет».

Звуковой строй речи оказывается для поэта равноценным ее смысловому содержанию. «Голос», «звук», «музыка слов» – вот с чего начинается творчество. Возьмем пример у Бродского хотя бы из самого раннего:

Каждый пред Богом наг.
Жалок, наг и убог.
В каждой музыке Бах,
В каждом из нас Бог.

Стихи под эпитафией

Почему здесь – *Бах* (а не, скажем, *Бетховен* или *Моцарт*)? А потому что рубленые фразы, короткие слова, заданная мужская рифма. Размер определяет выбор слова, форма ведет за собой мысль...

Конечно, участие языка в мыслительных процессах необходимо изучать экспериментально. Но всё же и свидетельства ученых, писателей, поэтов, непосредственно занимающихся творческой деятельностью, представляют большой интерес.

Из практического опыта людей хорошо известно, что мысль каким-то образом «привязана» к конкретному языку. Это прежде всего замечают те люди, которые владеют несколькими языками. Приведу только три свидетельства (хотя их могло бы быть намного больше).

В частности, один из лучших оперных басов XX века Борис Христов был по национальности болгарин. Но долгие годы певец жил в Италии, являлся солистом тетра «Ла Скала». В одном из интервью он признался: «Когда я говорю по-итальянски, я думаю тоже по-итальянски. Когда говорю по-болгарски, то и думаю по-болгарски».

Польского кинорежиссера Кшиштофа Занусси спросили, из чего исходит режиссер в своей трактовке произведения. Он ответил: «Из своей культуры, своего языка, на котором он привык думать. Язык тоже определяет менталитет. Я владею несколькими иностранными языками и вижу, что когда перехожу с одного языка на другой, начинаю думать немного по-другому».

Киноактриса Ингеборга Дапкунайте («Утомленные солнцем»), по происхождению литовка, владеет тремя языками: литовским, русским, английским и снимается в разных странах, у разных режиссеров. Вот ее признание:

«Я думаю на языке страны, в которой в данный момент нахожусь. Но, если надо, могу переключиться. На английский прямо сейчас – запросто. А на литовском мне иногда не хватает слов, на нем я лишь разговариваю с родными...»

Что значит вот это «думаю на языке»?! Какую роль играет язык в процессе мышления и на каком этапе он в него включается? Какие именно языковые единицы принимают в этом участие: звуки? слова? сочетания слов? Если, предположим, я спрашиваю собеседника, как того зовут, или отвечаю на вопрос, сколько сейчас времени, то насколько осознанно или, наоборот, автоматизированно здесь используется язык? И идет ли речь в таком случае о языке целого народа, нации, или же о языке индивида (так называемом идиолекте)?

Очевидно, что мы здесь имеем целый комплекс проблем, подлежащих научному исследованию. Лингвисты уже давно подби-

рались к их решению. И, хотя и сегодня нельзя сказать, что проблемы эти полностью решены, я попытаюсь показать, к каким результатам приходили ученые на этом сложном пути.

Великий польский и русский лингвист Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (1845–1929) в ряде работ отстаивал понимание языка как явления «психическо-общественного». В частности, в специальном докладе «О психических основах языковых явлений» он так описывал скрытую от нас работу нервной системы:

«В моем мозгу, в моей “душе” приводятся психически в движение некоторые сгруппированные и упорядоченные ассоциации представлений, а эти осознанные ассоциации представлений воздействуют возбуждающе на мои нервы, руководя движениями соответствующих мускулов. Как результат физиологической работы мускулов возникают акустические явления – звуки, из которых в определенном порядке составляются задуманные мною слова и предложения. Ощущения, полученные от этих акустических рядов, вызывают в “душах” слушателей соответственно сложные фонетические представления, ассоциированные со свойственными им языковыми и внеязыковыми представлениями; осознание этих ассоциаций и есть понимание горящего...»

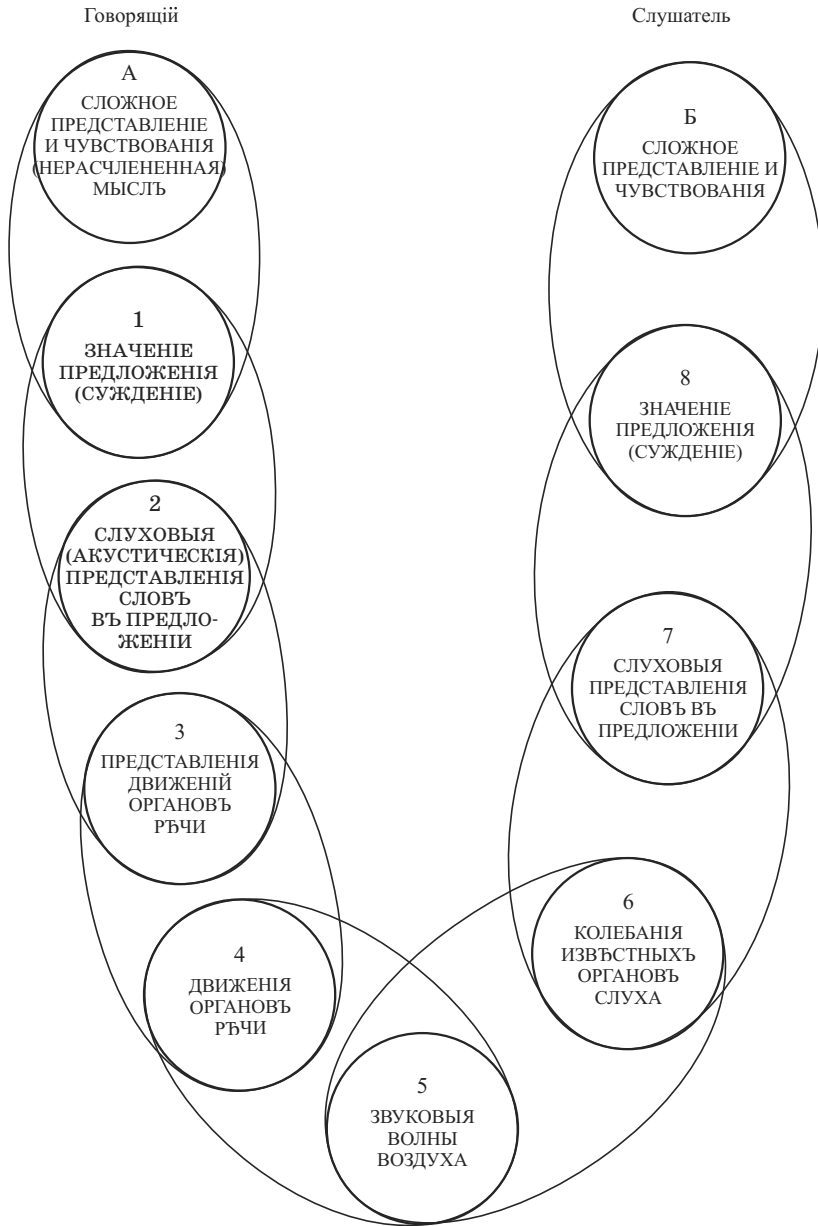
Эта длинная цитата выглядит сухо, но за ней стоит попытка представить поразительную вещь: как мысль, идеальная и бесплотная, облачившись в материю звука, становится доступной другому человеку, становится предметом чужого сознания! Не выраженная вслух мысль остается сомнительным достоянием. Как у полуанекдотической маленькой девочки, которая на вопрос, что она думает, ответила: «Откуда я знаю, что я думаю? Вот скажу – тогда узнаю!» Или как у Осипа Мандельштама:

Я слово позабыл, что я хотел сказать.

Слепая ласточка в чертог теней вернется...

Ласточка

Примерно в то же время, что и Бодуэн, профессор Новороссийского университета Александр Иванович Томсон (1860–1935) изображал речевую деятельность в виде «сложной цепи представлений и движений». Вот как выглядят отдельные звенья в цепи общения говорящего и слушающего (схема 1).



«Сложное представление и чувствования (мысль) → значение предложения (суждение) → слуховые представления слов → представления движений органов речи → движения органов речи → звуковые волны воздуха → колебания органов слуха → слуховые представления слов → значение предложения (суждение) → сложное представление и чувствования» («Основы языковедения». Одесса, 1910).

Очевидно, что эта схема носит общий и условный характер, и в некоторых случаях переход от одного этапа к другому требует дополнительного объяснения – скажем, переход от суждения к слуховым образам слов...

Надо сказать, что концепции Бодуэна и Томсона вполне отвечали ассоциативной теории, господствовавшей в психологии в XIX и начале XX века. Это направление разлагало процесс мышления на основные элементы – представления, стоящие за отдельными словами, – и пыталось показать, что мышление, по существу, сводится к комбинированию этих представлений по законам **ассоциации**. Память, внимание, мышление – все психические процессы объяснялись ассоциациями по смежности или по сходству. Ученым, занимавшимся языком, не хватало пока что целенаправленных и фронтальных наблюдений над речевой деятельностью.

Известный немецкий лингвист, основатель неогумбольдтианства, Йоханн Лео Вайсгербер (1899–1985) в своей первой крупной работе «Родной язык и формирование духа» («Muttersprache und Geistesbildung», 1929) писал: «Человек, который вырастает в некий язык, находится на протяжении всей своей жизни под влиянием своего родного языка, действительно думающего за него». Эта мысль была для Вайсгербера ключевой, он не раз к ней возвращался. В упомянутой книге ученый указывал, в частности, на роль синтаксических конструкций в мыслительной деятельности:

«Схемы предложений во многом заранее определяют тот способ, которым формируется мысль. [...] Схемы предложений зачастую уже присутствуют до того, как будет найдено слово, то есть на очень раннем этапе формирования мысли».

Й. Л. Вайсгербер на конкретных примерах показывал, как это происходит. Скажем, если человека спросили: «Что такое инструмент?», то он начинает говорить «Инструмент – это...», возможно, еще не зная, какие слова он далее выберет. А синтаксическая схема у него уже есть, она готова, она сформирована его коммуникативным и когнитивным опытом!

Немецкий романтик конца XVIII – начала XIX века Генрих фон Клейст оставил нам среди своих философских и искусствоведческих работ специальное эссе под названием «О том, как постепенно составляется мысль, когда говоришь». Писатель на конкретных литературных образцах показывает: мысль человека формируется в ходе говорения, она фактически рождается в речи. У истоков речемыслительного акта может стоять какой-то образ, смутное представление (этот тезис нам уже знаком по предыдущим цитатам). Но...

«Стоит лишь мне смело начать, – пишет фон Клейст, – как мой ум, вынужденный найти началу конец, преобразует, покуда я говорю, это туманное представление в полную ясность, так что к концу периода я, к своему изумлению, знаю то, что хотел узнать. [...] Я думаю, что иной великий оратор, открывши рот, еще не знал, что он скажет. Но уверенность, что нужное изобилие мыслей он так или иначе извлечет из обстоятельств и из волнения, которое они у него вызывают, делала его достаточно дерзким, чтобы начать наудачу»

Итак, не знаешь, что сказать? Ты только начни – язык сам подскажет тебе, что надо говорить. Такая ситуация не раз отражалась в литературе, от античных времен до сегодняшнего дня. Вот подходящий пример – цитата из повести писателя Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Там персонаж по фамилии Килин, выступая на митинге, никак не может начать свою речь. И наконец:

«Произнеся первую фразу, он почувствовал облегчение. Постепенно он овладевал текстом, и текст овладевал им. Привычные словосочетания притупляли ощущение горя, уводили сознание в сторону, и вскоре язык Килина болтал уже что-то сам по себе как отдельный и независимый член организма...»

А писатель Виктор Конецкий дает совет на случай, «когда не пишется»:

«Все равно пиши! Пиши все подряд! Никаких вдохновений! Есть шанс, что механика, процесс письма выведет к мысли и деталям, имеющим и какое-то значение, нужность, ибо писание раскачивает тормозные колодки души – оно для этого и придумано! Только начинай!» (повесть «Третий лишний»).

Вернемся к предшественникам и источникам психолингвистики. Существенный вклад в изучение проблемы связи языка и мышления внесли и психологи. Здесь надо назвать прежде всего

Льва Семеновича Выготского (1896–1934). Выготский – признанный во всем мире специалист, основатель советской школы психологии. Самый известный его труд – «Мышление и речь» (1934). Несколько важных для нас цитат из этой книги:

«Речь [...] не может надеваться на мысль, как готовое платье. Речь не служит выражением готовой мысли. Мысль, превращаясь в речь, перестраивается и видоизменяется. Мысль не выражается, но совершается в слове».

В этих словах – прямое признание того, что формирование мысли в голове у человека происходит в связи с языком и в зависимости от языковых структур. Выготский ввел в психологию и в лингвистику понятия внутренней и внешней речи. Внутренняя речь – «это речь для себя, протекающая в совершенно иных внутренних условиях, чем внешняя, и выполняющая совершенно иные функции». Фактически внутренняя речь совпадает с мыслительным процессом, это «мысль, связанная со словом».

«Во внутренней речи слово гораздо более нагружено смыслом, чем во внешней. Оно [...] является концентрированным сгустком смысла. [...] Опыты показывают, что словесные значения во внутренней речи являются всегда **идиомами**, непереводаемыми на язык внешней речи».

Свойства внутренней речи, по Выготскому, таковы. Прежде всего, это размытость, нечеткость (мы бы сегодня сказали – аппроксимационность): внутренняя речь – «облако, которое проливается дождем слов». Далее, это неполнота, фрагментарность: многие элементы здесь опускаются. Наконец, это абсолютная предикативность: внутренняя речь «состоит с психологической точки зрения из одних сказуемых». Перед нами, так сказать, модель матрешки или снежного кома, в котором каждый новый слой объемлет все предыдущие. Эта идея последовательной предикации была затем учтена структурной и генеративной грамматикой. Поскольку предикат в высказывании должен быть только один, то иные кандидаты на эту роль должны либо быть сдвинуты на более низкую позицию (ср. понимание определения как «деградировавшего сказуемого» у Г. Пауля), либо должны создать «вставную» конструкцию...

Возьмем такой пример. Допустим, мы видим комнату белого цвета, ярко освещенную, напоминающую нам медицинское или санитарное помещение. В нашем сознании понятию «комната» приписываются три признака: «белый», «освещенный», «как са-

нитарный». Но для того, чтобы объединить эти три предикации в одну сложную мысль, нам надо организовать их сукцессивно, т. е. последовательно. Например, построить такую семантическую конструкцию: *((((комната) белая) освещена) как санитарное помещение)*. Последовательность раскрытия скобок обратна той последовательности, в которой осуществляется приписывание признака. Вот она, модель снежного кома! А в оригинале, в художественном тексте, откуда я взял этот пример, – у Владимира Набокова в рассказе «Лик», – организация внутренней мысли, воплотившаяся в структуру высказывания, еще сложнее:

«Освещенная комната была санитарно бела по сравнению с южным мраком в растворенном окне».

Интересно, что некоторые идеи Выготского были позже использованы социологами и литературоведами. В частности, Ефим Григорьевич Эткинл применил их к анализу чеховских персонажей: у Чехова, по его словам, человек думает одно («внутренний человек»), а говорит другое: это его «внешняя речь».

Предшественником психолингвистики можно считать также швейцарского психолога Жана Пиаже (1896–1980). В своем классическом труде «Речь и мышление ребенка» (1923) ученый говорит: речь ребенка первоначально эгоцентрична, направлена на самого себя. Маленький мальчик (или девочка) разговаривает с самим собой, ему не нужен собеседник. И лишь по мере социализации индивида, вхождения его в коллектив, речь обращается вовне, наружу, она получает адресата. Позже Пиаже связывал психическую деятельность с приспособлением индивида к среде, с формированием готовых схем поведения – «операциональных структур».

Еще одно важное имя в истории психолингвистики – московский ученый Николай Иванович Жинкин (1893–1979). Его знаменитая книга «Механизмы речи» (1958) представляла собой попытку заглянуть в тот «черный ящик» сознания, который до тех пор был недоступен для исследователя. Жинкин считал, что внутренняя речь латентна (скрыта), но материальна в своей основе, причем она «осуществляется не на словесном, нормализованном языке, а на специфическом субъективном языке, вырабатываемом в процессе накопления интеллектуального опыта» (из предисловия к «Механизмам речи»). В качестве такого специфического языка внутренней речи Жинкин предложил универсальный предметный код (УПК). УПК опирается, процитирую, «не только на звуковые и

буквенные сигналы, но и на всю сенсорную палитру через наглядные представления. За словами всегда можно увидеть не только то, о чем говорится, но и то, что замалчивается, и то, что ожидается (из книги Н. И. Жинкина «Речь как проводник информации»).

Для становления психолингвистики велико было также значение американской этнолингвистики, особенно работ Франца Боаса, Эдварда Сепира, Бенджамена Ли Уорфа, опубликованных в 1-й половине XX века. Исследователи, столкнувшись с существенными различиями в лексическом и грамматическом строе американских аборигенов с языками «европейского стандарта» (Standard Average European), были вынуждены признать, что язык накладывает свой отпечаток на мыслительные процессы. «Язык стоит между человеком и природой» – это гумбольдтовское положение получило практическое подтверждение и развитие. В частности, в языке индейцев хопи, как оказалось, совершенно иное представление о времени. И это отражается в особенностях норм мышления и поведения людей этого племени. Так появилась теория лингвистической относительности, или «гипотеза Сепира – Уорфа», до сих пор продолжающая волновать ученых и требующая все новых экспериментальных подтверждений.

В становление психолингвистики как науки внесли свой вклад и другие ученые. Среди них особенно много немцев: это философ и психолог Вильгельм Вундт (1832–1920) с его теорией народной психологии (Völkerpsychologie), представители вюрцбургской школы психологии (О. Кюльпе, Н. Ах, К. Бюлер и др.) и гештальтпсихологии (М. Вертгаймер, К. Коффка и др.).

Далее, это австрийский психолог Фридрих Кайнц (F. Kainz, 1897–1977), автор многотомной «Психологии языка», на русский язык пока не переведенной (титул немецкого оригинала: «Psychologie der Sprache»). Это русские ученые, создавшие рефлексивную теорию психической деятельности (И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. А. Ухтомский), и многие другие. В частности, физиолог Сеченов показал, что мышца участвует в процессах предметного мышления: для нас это напоминание о том, что мышление бывает не только вербальным! Сегодня для науки является уже аксиомой различие нескольких типов мышления – вербального (абстрактного), образного, предметного и других. Причем оказывается, что многие мыслительные стратегии и типы культурной деятельности запрограммированы генетически – это значит, наследуются от поколения к поколению. Цитирую современ-

ных американских социобиологов (есть сегодня и такая наука!) Ч. Ламсдена и Э. Уилсона (Ch. J. Lumsden, E. O. Wilson):

«Среди этих категорий – цветное зрение, острота слуха, память, время, необходимое для овладения языком, вычислительные способности, способности к различению вкуса и запахов, к письму, к конструированию предложений...»

Сказанное объясняет, почему у представителей разных этносов и даже разных рас наблюдаются одни и те же формы поведения (мимика, некоторые фобии и неврозы, табу на инцест и др.).

Говоря о предпосылках психолингвистики, стоит назвать также исследования датского лингвиста Отто Есперсена (1860–1943). В своей «Философии грамматики» (первое издание – 1924 г.) он попытался объяснить внутренние механизмы функционирования языка. Там же грамматика определяется как «часть психологической лингвистики»:

«Психология должна помочь нам понять, что происходит в сознании говорящих, а особенно – как они отступают от ранее существовавших правил в результате борющихся тенденций, каждая из которых обусловлена известными фактами в строе данного языка».

Особое место среди предшественников психолингвистики занимает петербургский профессор Лев Владимирович Щерба (1880–1944). Это был ученый с очень широким кругом интересов. У него есть работы, посвященные фонетике, лексикографии, методике преподавания языка... Но в некоторых своих статьях он развивает два положения, очень важные для современной психолингвистики. Это, во-первых, противопоставление активной грамматики (деятельности говорящего, направленной от смысла к тексту) и пассивной грамматики (деятельности слушающего, направленной от текста к смыслу) и, во-вторых, тезис о месте эксперимента в деятельности лингвиста. Но о развитии этих идей будет идти речь в следующих лекциях.

Конечно, я не всех предшественников психолингвистики назвал. Стоило бы упомянуть еще ученика Гумбольдта немца Хеймана Штейнталя, самобытного русского и украинского лингвиста Александра Афанасьевича Потемню, белоруса Петра Афанасьевича Бузука и многих других. Но главное – было важно показать, что психолингвистика как наука возникла не внезапно и не на пустом месте, она естественным образом вызрела в недрах традиционного языкознания и продолжила лучшие традиции гуманитарного знания, идущие от Вильгельма фон Гумбольдта.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ КАК НАУКИ

Формально психоллингвистика берет свое начало с 1953 года. В этом году в США, в городе Блумингтон, состоялся Межуниверситетский исследовательский семинар. Организаторами его были известные психологи Джон Кэрролл и Чарльз Осгуд, а также литературовед и этнограф Томас Себеок. В результате многодневных дискуссий (в семинаре приняло участие два десятка ученых из разных университетов) на свет появилась коллективная монография «Психоллингвистика» (*Psycholinguistics. A survey of theory and research problems. Baltimore, 1954*). В этой книге нашли свое отражение некоторые принципиальные положения новой науки.

Объект ее определяется здесь очень широко. Прочитую соответствующее место (в переводе А. А. Леонтьева):

«Психоллингвистика изучает те процессы, в которых интенции говорящих преобразуются в сигналы принятого в данной культуре кода и эти сигналы преобразуются в интерпретации слушающих. Другими словами, психоллингвистика имеет дело с процессами кодирования и декодирования, поскольку они соотносят состояние сообщений с состояниями участников коммуникации».

Важным для основателей нового научного направления является различение **лингвистических** единиц (таких, как фонема, морфема и др.), **психологических** единиц (это единицы, которые реально выделяет в своем сознании носитель языка, а именно: слог, слово и предложение) и собственно **психоллингвистических** единиц (т. е. сегментов, работающих в процессах кодирования и декодирования). Ставится вопрос о психологической реальности лингвистических единиц и о лингвистической значимости психологических единиц, недостаточно учитываемых языковедами. В частности, очень интересен вопрос: что такое слово в сознании носителя языка? Сколько, например, слов в предложении *Петя с Машей пошли в кино*? Есть веские основания считать, что для обычного человека *с Машей*, так же как и *в кино*, представляет

собой единое слово (а выделение предлогов как служебных слов – в значительной мере результат усвоения орфографических правил)!

Иерархия психолингвистических единиц у Осгуда и его соавторов выглядит следующим образом. На начальном, самом верхнем, **мотивационном уровне** (motivational level) говорящий имеет дело с сообщением в широком смысле слова (включая сюда модальные характеристики). Затем идет **семантический уровень** (semantic level), на котором выбираются значения. Здесь говорящий имеет дело с «функциональными классами». Следующий, третий уровень – **уровень последовательностей** (sequential level), когда функциональные классы воплощаются в слова. И, наконец, четвертый уровень – **интеграционный** (integrational level); по Осгуду, кодирование здесь заканчивается слогами. Можно, конечно, дискутировать по поводу этой схемы, особенно в том, что касается средних уровней: переходит ли говорящий от исходной интенции к неким «опосредованным репрезентациям» или же прямо к словам и т. п.?

Поэтому авторы «Психолингвистики» дополняют изложенную схему особой последовательностью «уровней поведения». Предполагается, что говорящий начинает порождение текста («кодирование») с выбора семантической **интенции** (это может быть желание задать вопрос, или похвалить кого-либо, или выразить свое возмущение и т. п.). Затем, на следующем этапе, происходит подбор **слов с их грамматическими характеристиками** (последнее важно!), и, наконец, на завершающем этапе слова облекаются в **звуковую форму**. Это уже выглядит более понятно и, я бы сказал, естественно.

Особого внимания заслуживает психолингвистический «уровень последовательностей» (sequential level). Дело в том, что авторы концепции трактуют структуру сообщения исключительно как марковскую (стохастическую) цепь. Это значит, что выбор каждого следующего элемента определяется только составом предыдущего контекста (предшествующими словами). Но если предположить, что в каждый конкретный момент движение осуществляется только «слева направо», т. е. выбор говорящего обусловлен исключительно предыдущими словами, то ясно, что перед ним встает огромный разброс вариантов, рассмотрение которых потребовало бы большого периода времени. Предположим, человек говорит:

«Статьи в сборник принимаются...» – и далее могут идти такие варианты: *до 1-го мая; объемом до 20 страниц; напечатанные через 1,5 интервала; только от работников института; в электронной версии; через секретаря; одновременно с оплатой вступительного взноса; на английском языке; при наличии рецензии* и т. д., и т. п. – число возможных продолжений огромно.

На самом же деле человек затрачивает на выбор очередного элемента в своей речи какие-то сотые доли секунды. Кроме того, выбор слова иногда явно связан не только с предшествующим, но и с последующим контекстом, ср.:

«Статьи в подготавливаемый (сборник)...»

Очевидно, что слово *подготавливаемый* здесь зависит не от предыдущего элемента *статьи*, а от последующего *сборник!* (Либо придется признать, что словосочетание *подготавливаемый сборник* используется говорящим целиком, как единый номинативный комплекс.)

Очень показательны также оговорки и описки, когда человек «забегает вперед», выбирая не тот элемент, который ему нужен сейчас, а тот, который ему понадобится на следующем шаге последовательности; такие примеры знакомы каждому из нас. Приведу в качестве иллюстрации оговорку телеведущего на Центральном телевидении (программа «Время», собственная запись):

«Сейчас увеличены штрафы за простой вагонов. Подействует ли это на бесперебойную дорогу железных... работу железных дорог?»

Все это говорит либо о том, что выбор говорящего основан на каком-то многомерном, многокомпонентном основании, либо о том, что на процесс селекции конкретных элементов и упорядочения их последовательности влияет некоторый **предварительный план**, схема, которая есть в голове у говорящего.

Американские психолингвисты попытались использовать для объяснения этого феномена генеративную, или порождающую, грамматику Ноама Хомского (**N. Chomsky**), **первые варианты** которой появились в те же 50-е годы XX века. Как известно, модель Хомского включает в себя два основных компонента: **языковую способность**, т. е. потенциальное и врожденное знание языка (*linguistic competence*), и **речевое употребление**, т. е. реализацию данной способности (*linguistic performance*). При этом сам Хомский понимал, что его модель не описывает реального процесса производства конкретных высказываний, иначе говоря, не претендует на психолингвистическую значимость. Добавлю также, что концепция Хомского создавалась в расчете на англоязычный материал, и последующая ее критика в значительной степени и была связана с тем, что генеративная грамматика оказалась плохо приложима к материалу других языков.

Важнейший компонент языковой способности – синтаксический – включает в себя, по Хомскому, ограниченное множество глубинных структур, каждая из которых с помощью трансформаций может быть преобразована в разнообразные поверхностно-

синтаксические структуры. Скажем, высказывание *Лучший ученик решил задачу*, соответствующее схеме $S \rightarrow NP + VP$ (следует читать: предложение разлагается на именную группу и глагольную группу), может быть преобразовано в такие фразы, как *Лучший ученик не решил задачу*; *Задача решена лучшим учеником*; *Решил ли лучший ученик задачу?*; *Лучший ученик, который решил задачу*; *Решение задачи лучшим учеником* и т. п. Причем экспериментально доказано, что эти «вторичные» высказывания требуют для своего понимания и обработки больше времени, чем исходное предложение. Это свидетельствует о психологической реальности трансформаций в сознании человека.

И вообще, предложенные Хомским составляющие – (а) единицы словаря, (б) классы единиц словаря, (в) правила распространения и (г) правила трансформации – оказались соотносимы с психолингвистическими уровнями кодирования/декодирования речи. В частности, правила распространения через цепочку непосредственно составляющих можно было принять за последовательность развертывания, определяющую выбор конкретного элемента. Иначе говоря, деление на именную и глагольную группы, далее, шаг за шагом, на определяемое и определение, на сказуемое и дополнение и т. д. – может быть, и этот процесс психологически реален? И уж безусловно важно введенное генеративистами противопоставление глубинных и поверхностных структур, между которыми лежат трансформационные операции.

Американская психолингвистика впитала в себя принципы генеративной грамматики, однако нельзя сказать, что это решило ее проблемы. Добавлю, что основой для этой молодой науки послужил, кроме уже упоминавшихся исследований Боаса, Сепира и Уорфа, также бихевиоризм в лице Леонарда Блумфилда (1887–1949) и его последователей. Блумфилд трактовал речевой акт как часть человеческого поведения, укладывающуюся в общую рамку взаимодействия «стимул – реакция». Поэтому здесь отсутствуют какие-либо социальные, идеологические, аксиологические (т. е. оценочные), эстетические факторы, а обмен информацией выглядит до некоторой степени механистическим. Бихевиоризм (от англ. behaviour ‘поведение’) продолжал «ассоцианистскую» модель поведения в психологии, согласно которой каждая реакция служит стимулом для следующей реакции.

На самом же деле речевая деятельность, использование языка с коммуникативной или иной целью представляет собой чрезвычайно сложный процесс, имеющий дело в каждый момент с

неопределенным числом состояний. Выбор в ходе речепорождения конкретного элемента, в том числе слова, зависит от множества факторов. Это стало ясно и американским психолингвистам, как только они перешли к экспериментальному исследованию речевого поведения, как только на смену умозрительным предположениям и самонаблюдению пришли опыты, достоверность результатов которых нужно было доказывать статистически.

Я имею в виду прежде всего работы Чарльза Осгуда и его сотрудников по «измерению значения». В 1957 году вышла в свет книга Ч. Осгуда, Дж. Сучи и П. Танненбаума «Измерение значения» (в оригинале: «**The measurement of meaning**»). В ней предлагался метод шкалирования для описания лексической сети, представленной в сознании индивида. Дело в том, что обычные описания слов в толковых словарях не отражают всей сложности реальных значений. Скажем, определение *Отец – родитель мужского пола* не учитывает таких качеств, как возраст отца, его строгость, то, что на отца обычно возлагаются функции «добытчика» (он зарабатывает деньги), то, что он пользуется уважением, и т. п. Не случайно дети очень часто заканчивают высказывание *Я люблю...* словом *мама*, но очень редко подставляют на это место слово *papa*: у отца в глазах ребенка другие функции, чем быть «предметом любви».

Поэтому Осгуд предложил более тонкую методику, получившую название «семантического дифференциала». Выглядело это следующим образом. Испытуемым предлагался ряд слов (например, *отец, грех, рыба, симфония, булыжник...*), каждое из которых нужно было уместить на шкале признаков «х – у», состоящей из семи делений (схема 2).

Схема 2

		Отец									
		+3	+2	+1	0	-1	-2	-3			
х	счастливый		•							у	
	твердый		•								печальный
	медленный				•						мягкий
	мужественный	•									быстрый
	ласковый							•			женственный
...										жестокий	
									...		

Величину +3 здесь надо было понимать как «очень х», +2 – как «вполне х», +1 – как «немного х», 0 – как «ни х, ни у», -1 – как «немного у», -2 – как «вполне у», -3 – как «очень у». А для другого слова, например, *грех*, эти точки (оценки) занимали бы на шкалах совсем другие места... Таких полярных противопоставлений, вроде *счастливый – печальный*, было много, более двух десятков. Тут были и *горячий – холодный*, и *серьезный – смешной*, и *обычный – необычный* и т. д. Получалось, что значение каждого слова определяется как **семантическое пространство**, очерчиваемое точками на ряде непрерывных шкал. Причем какие-то полярные признаки оказались друг с другом внутренне связаны, а какие-то – нет. После их группировки было выделено всего три независимых фактора: Оценка (шкала типа «хороший – плохой»), Сила (шкала типа «расслабленный – напряженный») и Активность (шкала типа «активный – пассивный»), каждый из которых получал свое статистическое воплощение.

Это было только начало углубленного экспериментального исследования того, как функционирует слово в сознании носителя языка. Дальнейшие исследования, в частности ассоциативные эксперименты (о которых будет идти речь на следующих лекциях), еще больше усложнили картину.

Параллельно и одновременно с Соединенными Штатами Америки, союз психологии с лингвистикой вызревал и в Советском Союзе. Первые публикации на эту тему относятся к 50-м годам XX века (см. брошюру О. С. Ахмановой «Психолингвистика». М., 1957). Но по-настоящему это направление стало оформляться в связи с деятельностью Алексея Алексеевича Леонтьева (1936–2004). Леонтьев, сын известного психолога с той же фамилией, был не только основоположником советской психолингвистики, но и ее идеологом и организатором. Ему принадлежат, в частности, книги «Слово в речевой деятельности» (1965); «Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания» (1969); «Основы психолингвистики» (1997) и многие другие. Он был организатором и редактором коллективных монографий «Теория речевой деятельности» (1968) и «Основы теории речевой деятельности» (1974).

Обратим внимание на то, что психолингвистика в Советском Союзе чаще называлась **теорией речевой деятельности** (хотя она отнюдь не была чисто теоретической наукой). Это объяснялось, во-первых, стремлением подчеркнуть связь с русской психологической традицией (изучением деятельности как таковой), а

во-вторых, стремлением избежать упреков в копировании американской психолингвистики (до поры до времени «буржуазной псевдонауки»).

Советская психолингвистика опиралась на уже упомянутые труды Выготского и Щербы. В соответствии с этим и проблемы, которые перед нею стояли, касались прежде всего внутренней речи и активной/пассивной грамматики (в связи с проблемами обучения языку, билингвизма и т. п.).

Проблема внутренней речи упиралась в два вопроса: а) какие единицы используются мозгом при переходе от интенции (замысла) к тексту и обратно? и б) какова реальная роль и последовательность участия языковых единиц в этих процессах?

То, что мышление каким-то образом связано с материей языка, не подлежит сомнению. Можно было бы припомнить здесь какое-либо из свидетельств, приводившихся в прошлой лекции, но я приведу новую цитату – из эссе Татьяны Толстой «Русский человек на randevу»:

«...Я не понимаю, как можно писать ВНЕ языка. Я знаю, как можно писать НА языке, языком, ВНУТРИ языка; знаю, как он – язык – сопротивляется нашим усилиям и в то же время помогает, неожиданно и услужливо предлагая нужные средства; знаю, как он хочет жить сам по себе, ловко уворачиваясь от насилия над собой, как он – к удивлению пишущего – вдруг становится хозяином, а не слугой, ведет тебя не туда, куда ты намеревался прийти...»

Это очень изящное и достоверное (потому что из уст самой писательницы, да еще популярной!) напоминание о связи творческой, мыслительной деятельности с языком, на котором человек говорит. Но по сути вопрос требовал экспериментального исследования.

В опытах уже упоминавшегося Жинкина, а также Александра Николаевича Соколова испытуемым предлагалось молча решать несложные мыслительные задачи (например, арифметические примеры или вопросы типа: *Брат отца и отец брата – это одно и то же или нет?*), в то время как нервно-физиологическая деятельность их организма находилась под контролем. В одних случаях положение внутренних органов (глотки, языка) фиксировалось на кинорентгенограмму, в других – с губ или с кончика языка снимались (с помощью невесомых датчиков) сигналы о динамике электрического потенциала. (Эксперименты последнего типа описаны в книге А. Н. Соколова «Внутренняя речь и мышление». М., 1968.) Во всех случаях исследователи фиксировали **работу органов речевого аппа-**

рата: микродвижения языка, изменение электроактивности речевой мускулатуры. Однако – что очень важно – эта работа не совпадала с обычной артикуляционной работой органов речевого аппарата.

Вот как писал в 60-е годы один из пропагандистов изучения речемыслительной деятельности Вячеслав Всеволодович Иванов:

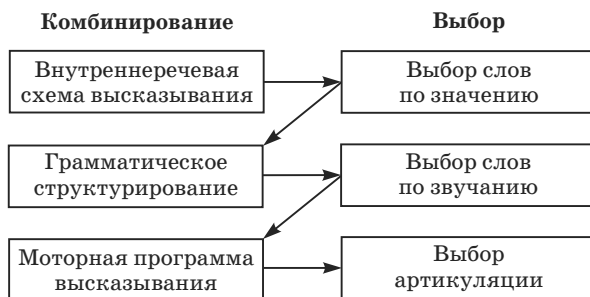
«...Внутренняя речь использует средства кодирования, связанные с физической природой сигналов звукового языка, но вместе с тем эта система передачи информации использует **внутри мозга** сигналы, физическая природа которых совершенно отлична от физической природы сигналов звукового (или письменного) языка...»

И до сих пор вопрос об элементах внутренней речи, о ее материальном воплощении остается открытым.

Что же касается стадий (этапов) внутренней речи, то, по Леонтьеву, сразу после мотива наступает этап внутреннего Программирования, т. е. «неосознаваемого построения некоторой схемы, на основе которой в дальнейшем порождается речевое высказывание». Внутренняя Программа складывается из своего рода смысловых вех, это «содержательное ядро будущего высказывания», или, говоря современными терминами, «иерархия пропозиций», основанных на предикативных отношениях. Далее Программа высказывания реализуется в соответствии с правилами грамматического и семантического развёртывания, а результат подвергается контролю.

Чему при этом отдать приоритет: грамматике или лексике? В чем естественнее воплотиться Программе высказывания – в знакомых говорящему номинациях или в общей синтаксической структуре, охватывающей «участников ситуации»? На этот счет есть разные мнения. В частности, ученица Леонтьева Т. В. Рябова (Ахутина) первоначально выстраивала этапы Программы таким образом (схема 3).

Схема 3



Позже эта схема приняла несколько более сложный вид, но все равно переход к собственно языковым единицам начинался с выбора слов.

Однако другие ученые, занимавшиеся этой проблемой – Ю. С. Степанов, Н. И. Жинкин, А. Р. Лурия и др., – считают, что говорящий соотносит Программу высказывания с тем набором структурных схем, которые предлагает ему язык. При этом А. А. Леонтьев оговаривается, что «синтаксическая структура высказывания отнюдь не задана с самого начала или задана лишь частично и достраивается в самом процессе порождения».

Пожалуй, не случайно синтаксической схеме, или модели предложения, уделяется такое внимание в психолингвистических концепциях. Это не только дань популярности генеративной грамматики, но и понимание того, что синтаксические конструкции способны в более общей, более концентрированной форме охватить смысл конкретной ситуации, соотнести ее с «типовыми ситуациями», хранящимися в памяти. О месте и роли синтаксической модели в процессе речепорождения мы еще поговорим подробнее в одной из следующих лекций.

Конечно, путь от внутренней речи к внешней осложняется еще вмешательством прагматических факторов: нужно выразить определенную модальность, передать «личностные смыслы», ввести высказывание в более широкий контекст и т. д. Да и реальная обстановка речепорождения бывает весьма разная; можно ли все случаи обобщить?

В 70-е годы XX века от психолингвистики начинает отпочковываться новое направление исследований речемыслительной деятельности – **нейролингвистика**. Это было связано с работами известного нейрофизиолога и нейропсихолога Александра Романовича Лурии (1902–1977). Лурия начинал свой научный путь с исследования речевых расстройств – афазии (в том числе возникающих после травм). Но постепенно в центр его внимания попала уже известная нам проблема механизмов внутренней речи. В частности, ученому удалось установить участки мозга, ответственные за те или иные речевые операции. Прочитирую:

«...Поражение передних отделов речевых зон ведет к распаду синтагматических конструкций (что приводит к глубоким нарушениям плавной речи), в то время как парадигматические конструкции остаются сохранными; наоборот, поражение задних отделов речевых зон сохраняет плавную речь, приводя к нарушению сложных парадигматических конструкций».

Путь от мысли к речи, считал Лурия, «начинается с мотива и общего замысла... проходит через стадию внутренней речи, которая, по-видимому, опирается на схемы семантической записи [...], приводит к формированию глубинно-синтаксической структуры, а затем [...] разворачивается во внешнее речевое высказывание, опирающееся на поверхностно-синтаксическую структуру» (из книги «Основные проблемы нейролингвистики». М., 1975).

В 70–80-е годы нейропсихологи окончательно убедились в том, что полушария головного мозга выполняют разные функции в процессах речевой деятельности. Правое полушарие отвечает за целостное и «одномоментное» восприятие мира со всеми его составными элементами, за синтезированный образ ситуации. Левое же специализируется на аналитическом, последовательном познании, на установлении иерархической сложности. (Это было подтверждено экспериментами, в которых больным временно «отключали», угнетали одно из полушарий.)

Тем самым, с одной стороны, объясняется, почему в разной обстановке речевая реакция человека может быть совершенно различной. Допустим, загорелось какое-то здание. И эта объективная ситуация может быть отражена в речи различным образом, сравним возглас: «*Пожар!*» и фрагмент отчета о действиях пожарной команды: «*В 20 часов 15 минут произошло самопроизвольное возгорание деревянного строения по улице Железнодорожной...*». С другой стороны, взаимодействие полушарий как раз и означает возможность перехода от целостного видения ситуации к ее расчлененному представлению, от комплексного образа, гештальта – к его частям.

Я позволю себе тут переключиться на совершенно иной жанр и процитировать отрывки из стихотворения петербургского поэта Александра Кушнера, посвященного, как ни странно, функциональной специализации полушарий головного мозга. Перед нами этакое пособие по психолингвистике в стихах:

Мозг ночью спит, как сад в безветрии.
 Клонилась речь на семинаре
 К функциональной асимметрии
 Его бугристых полушарий...
 В пространстве левом – опыт умственный,
 Прохладный, дышащий безликостью,
 В пространстве правом – вещный, чувственный,
 С шероховатостью и выпуклостью!..
 Пространство левое, абстрактное,
 Стремящееся в неизвестное;
 Пространство правое, обратное,
 Всегда заполненное, тесное.

Во второй половине XX века получила развитие идея Л. В. Щербы об активной и пассивной грамматике. Активная грамматика (ее еще называют идеологической) означает движение от смысла к тексту. Это деятельность говорящего (и пишущего). Здесь ключевым понятием становится выбор единицы, как в формальном, так и в семантическом плане; очень важное место занимает проблема синонимии и т. п.

Конечно, не только российские ученые работают в этом направлении. Например, получила известность концепция американского ученого В. Левельта. У него основные стадии речепорождения – это Концептуализация, Формуляция (куда входит грамматическое кодирование и фонологическое кодирование) и Артикуляция (см.: Levelt W. J. M. *Speaking: From Intention to Articulation*. Cambridge, 1989). Причем Левельт допускает в конкретных случаях и обратные «ходы» с нижнего уровня на верхний. А в модели другого американца, Уоллеса Чейфа, последовательность процессов речепорождения более явно соотносится с самим строением языка, с системой его уровней. Это «семантическая структура – промежуточная постсемантическая структура – поверхностная структура – исходная фонологическая структура...» и т. д., вплоть до воплощения в звучащий текст (см. его книгу «Значение и структура языка». М., 1975).

Появляются новаторские практические грамматики «активного» характера. Одной из первых была «Русская грамматика в функциональном аспекте» Анджея Богуславского и Станислава Кароляка (написанная на польском языке и изданная в Варшаве в 1970 году). Огромное влияние на последующие исследования оказала концепция, разработанная Игорем Александровичем Мельчуком (первое издание его книги «Опыт теории лингвистических моделей “Смысл ↔ Текст”» – 1974 год). Из работ последнего времени я бы назвал монографию финского русиста Арто Мустайоки «Теория функционального синтаксиса» с подзаголовком «От семантических структур к языковым средствам» (М., 2006). Эти работы нельзя назвать в прямом смысле психолингвистическими (скорее они принадлежат к функциональному направлению в грамматике), однако они очень важны для понимания тех процессов, которые протекают в сознании говорящего.

Пассивная же грамматика, со своей стороны, отражает деятельность слушающего (соответственно читающего): это движение от текста к смыслу. Здесь в центре внимания оказывается проблема отождествления единиц и, в частности, омонимия. Большое

значение в данном плане имела статья американского лингвиста Чарльза Хоккетта «Грамматика для слушающего» (1961; русский перевод см. в сб. «Новое в лингвистике». Вып. IV. М., 1965). Хоккетт писал: «Для того, чтобы понять, что он слышит, слушающий иногда должен произвести синтаксический анализ предложения, то есть вскрыть его грамматическую организацию почти тем же самым образом, как это делает грамматист».

Разумеется, пассивная грамматика охватывает не только собственно грамматические явления, но и восприятие звуковой стороны речи (этому посвящено огромное количество экспериментальных исследований), и «опознавание» лексики, и особенности понимания целых фраз, и соотнесение с жизненным и языковым опытом слушающего, и т. д. Связаны с данной проблематикой и попытки автоматического распознавания и анализа текста.

Назову здесь несколько монографий, вышедших на Западе в последние десятилетия и посвященных нашей теме:

- ✓ Köller W. *Philosophie der Grammatik. Vom Sinn grammatischen Wissens. Stuttgart, 1988;*
- ✓ Hinrichs U. *Linguistik des Hörens: Hörverstehen und Metakommunikation im Russischen. Berlin, 1991;*
- ✓ Culicover P. W., Nowak A. *Dynamical Grammar. Minimalism, Acquisition, and Change. Oxford, 2003.*

**РАЗВИТИЕ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
И ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ИНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ
В ЛИНГВИСТИКЕ**

Я не буду говорить в этой лекции о тех направлениях в языкознании, которые предшествовали появлению психолингвистики: об этом достаточно было сказано в предыдущих лекциях. Хотя, может быть, стоило бы напомнить, что без так называемого психологического направления в языкознании (Штейнталь, Вундт, Потебня) не было бы и самой психолингвистики.

Но сегодня психолингвистика, кроме собственно теории речевой деятельности, воплощается в целом ряде прикладных, практических направлений. Некоторые из них я уже называл в первой лекции (хотя они заслуживают дополнительного рассказа), другие же попробую кратко охарактеризовать сейчас.

Этнопсихолингвистика занимается изучением того, как протекают процессы речевой деятельности у разных народов. Особенности здесь могут быть обусловлены культурными различиями, социальными установлениями или самим языком. В частности, в разных социумах могут быть разные правила обращения к собеседнику и ведения диалога, специфический набор языковых стереотипов, особенности использования сравнений, имен собственных, цветообозначений, перечень табу, налагаемых на те или иные наименования, и т. п. Приведу некоторые примеры.

У российского литературоведа, искусствоведа, психолога Георгия Гачева есть целый ряд работ, в которых он описывает особенности поведения (в том числе речевого) разных народов: русских, киргизов, болгар, армян... Это, так сказать, развитие традиций *Völkerpsychologie* на современном этапе. В частности, говоря о болгарях, Гачев неоднократно подчеркивает недоверчивость болгарина, его склонность к сомнениям. Цитирую: «Он не принимает

ничего на веру, но оставляет резерв для сомнения и принятия другой истины» (из книги «Национальные образы мира». М., 1988).

Конечно, в это нетрудно поверить, тем более, что сам Гачев – выходец из семьи болгарских эмигрантов, и болгарская культура для него не чужая. Но какое это имеет отношение к языку? А вот какое (продолжу цитату):

«Болгарская форма мысли и высказывания – не категорическое суждение, а утверждение в форме условия (“если...”), варианты (“или...”), вопроса – но тоже смягченного (через “ли”)».

Возможно, не случайно в данном плане и наличие в болгарском языке специального пересказывательного наклонения: если там говорящий не уверен в том, что говорит, а опирается на чужие слова или непроверенную информацию, то он использует особые глагольные формы. Например, высказывание *Той вчера замина за Виена* означает ‘Он вчера уехал в Вену’, а *Той вчера заминал за Виена* – ‘Он вчера, говорят (или: вроде бы), уехал в Вену’.

Анна Вежбицкая, крупный современный лингвист польского происхождения, много внимания уделяет культурным сценариям, принятым у разных народов. И описывая, в частности, немецкие культурные сценарии, она обращает внимание на важность для них семантических категорий, которые можно было бы обозначить как «долженствование», «запрет», «порядок». Естественно, всё это отражается в языке. Вежбицкая рассказывает, в частности, как британский дирижер, работавший в Берлине, обратился за помощью к преподавательнице немецкого языка. Он хотел бы сказать своим оркестрантам: «Видите ли, мне кажется, было бы лучше, если бы мы играли так». На что преподавательница ответила: «Конечно, можно найти способ сказать это по-немецки, но никто не станет этого делать. Нужно сказать: *man muss*» (по книге: Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999; *man muss* по-немецки значит просто: ‘необходимо’).

Наблюдения показывают, что в разных обществах речевые действия могут быть в разной степени связаны с практической, неречевой деятельностью. Известный этнограф Бруно Малиновски отмечал, что у «примитивных» народов речь – это *speech in action*: любое высказывание «самым тесным образом связано с действиями людей, значение каждого слова самым непосредственным образом зависит от специфики этих действий, а структура всего высказывания – от конкретной ситуации, в которой она рождается» (цитирую по: Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. М.; СПб., 2003).

Через «доминирующие виды конкретизации высказывания» строй языка может влиять на национальную специфику мышления. Тот же А. А. Леонтьев в качестве одного из примеров приводит немецкий язык, располагающий разветвленной системой средств локализации предметов, действий и отношений. Речь идет в первую очередь об отделяемых глагольных приставках (типа *hinaufgucken* ‘выглядывать отсюда наверх’, проще по-русски сказать невозможно) и многочисленных пространственных предлогах, в том числе производных, типа *oberhalb* ‘над (не касаясь)’ – тоже довольно неуклюжий перевод, но именно в этом специфика системы немецкого языка.

Еще свежий пример: Ю. А. Стуликова, автор статьи, посвященной итальянской языковой картине мира, замечает, что русскую фразу *Я иду от Джулии к Марко* невозможно буквально перевести на итальянский язык, «ввиду отсутствия предлога, который мог бы передать значение ‘от кого?’, но, по-видимому, сама мысль в таком виде отсутствует в итальянской картине передвижений в пространстве. Итальянское представление о перспективе подобного движения передается следующим контекстом: ‘Только что я был у Джулии, а теперь иду к Марко’».

Этнопсихолингвистика в качестве своей дальнейшей задачи ставит создание общей типологии речи, обусловленной этносоциальными причинами.

С **патопсихолингвистикой** связано создание психоречевых портретов личности. Психиатрам хорошо известно, что по особенностям речи, точнее, по отклонениям от некоего речевого стандарта можно определять диагноз психического заболевания. Вот несколько примеров (по Леонтьеву).

Маниакально-депрессивный психоз: «телеграфный стиль», переходящий в бессвязность; отвлекаемость речи на новые предметы, возникновение большого числа ассоциаций по созвучию (в том числе рифмующихся слов).

Эпилепсия: замедленная и неясная речь, витиеватость, «вязкость» и стереотипность речи, тенденция к повтору, обилие слов в уменьшительной форме и т. п.

Болезнь Альцгеймера: стереотипность речи: высказывания состоят из одних и тех же слов или словосочетаний и произносятся с одинаковой интонацией.

Шизофрения: резонёрство и обстоятельность речи, замена конкретных понятий абстрактными и наоборот; повторение слов, произносимых собеседником, бессмысленное выкрикивание одного и

того же слова или высказывания и т. п. Леонтьев приводит в качестве образца такой отрывок из письма шизофреника в Академию наук: «Сила конуса законом властно действует высотным для поднятий горизонтом во полете стилем вносным». Наверное, автор письма старался таким образом обосновать свое открытие...

Попробуйте сами оценить и «поставить диагноз» одному из персонажей Гоголя, который выражается следующим образом:

«Да, конечно, нельзя сказать, чтобы не было того... в своем роде... Ну, конечно, кто ж против этого и стоит, чтобы опять не было и... где ж, так сказать... а впрочем... (*Утвердительно сжимая губами.*) Да, да!» (сценка «Театральный разъезд»).

Однако и в рамках психической нормы существует большое разнообразие типов личности, в самом общем виде сводимых к **интравертам** и **экстравертам** (согласно швейцарскому психологу Карлу Юнгу). Возможна и значительно более подробная классификация. Так, немецкий психиатр Карл Леонгард в своей известной книге «Акцентуированные личности» (K. Leonhard. Akzentuierte Persönlichkeiten. Berlin, 1976) говорит о личностях *демонстративных* (вралях, болтунах), *педантических* (аккуратистах, занудах), *застревающих* (подозрительных, ревнивых, злопамятных и т. п.), *возбудимых* (раздражительных) и т. п. Все эти особенности характера имеют и свои речевые признаки.

Могут привести из своих собственных наблюдений несколько примеров речевых портретов (разумеется, не называя фамилий).

X долгие годы была на руководящей работе. Говорит громко, связано, уверенно. Любит поучать, ссылаться на авторитеты. В речи подчеркивает свои достоинства, выпячивает свои вкусы. Например, за обедом в ресторане говорит: «Нам сегодня подали именно такую рыбу, которую я люблю». Образ – «начальница».

Y многословна, но говорит сбивчиво, захлебываясь, перескакивая с одного предмета на другой. В речи – масса междометий и других эмоциональных средств. Склонна к ироническим замечаниям. Часто сбивается на тему: «Я и великие», например: «Когда я разговаривала с академиком таким-то...» Обожает лести, даже грубую. Образ – «светская женщина».

Z часто вставляет в свою речь жаргонизмы. Любит противоречить, перебивать, особенно вставляя в диалог: «А вот я...», «А вот со мной был случай...». Часто переспрашивает, к месту и не к месту: «Да? Правда?» Кичится своей некомпетентностью в вопросах искусства. Любимый символ – свинья (чего не скрывает). Образ – «хулиганка, девочка-подросток».

В последние годы в российской лингвистике стало популярным введенное Юрием Николаевичем Карауловым понятие «языковая личность»; это «совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание им речевых произведений (текстов)». Появляются также понятия «речевого портрета» и даже «речевого паспорта» (М. В. Панов, Е. А. Земская, В. И. Карасик и др.). Нередко языковая личность может быть легко опознана по какой-то характерной для нее речевой «метке». Например, для речи российского политика Жириновского характерно слово *однозначно*, премьер-министр Гайдар любил довольно редкую частицу *отнюдь*, а Ельцин оставил о себе память частым употреблением вводного слова *понимаешь*, а также существительным *загогулина* в неожиданном значении...

Понятно, что с данным ответвлением психолингвистики тесно связана лингвистическая экспертиза текстов. У нее много задач: установление авторства художественных произведений, акустическая или почерковедческая авторизация текста и вообще анализ текста для нужд криминалистики (особенно важный для таких жанров, как задержание, расписка, письма с угрозами, предсмертные записки и т. п.).

Психолингвистика речевого воздействия. При всей условности этого названия оно покрывает очень важные сферы приложения психолингвистической теории. Это разработка коммуникативных технологий. В том числе сюда относятся использование языковых средств в политических, пропагандистских целях, манипулирование общественным мнением, речевая суггестия и т. д., вплоть до так называемого нейролингвистического программирования.

Известно, что для тоталитарных режимов (как фашистской Германии или Испании, так и Советского Союза или народно-демократической Польши) были свойственны одни и те же приемы в использовании языковых средств. Блестящий образец манипуляций со словом был воссоздан английским писателем Джорджем Оруэллом в его романе-антиутопии «1984» (написан в 1949 году). Писатель-фантаст попытался заглянуть в близкое будущее, в общество «английского социализма», построенное в вымышленной стране Океании. Для этого общества был характерен особый язык – «новояз» (в оригинале newspeak). Военное министерство в «новоязе» называлось *Министерством мира*, министерство экономики – *Министерством изобилия*, исправительно-трудовой лагерь – *восторглагом* (от *восторг* и *лагерь*) и т. д.

А о том, как это было в реальной действительности, свидетельствуют, в частности, записки немецкого публициста Виктора Клемперера «Язык Третьего рейха» (V. Klemperer. LTI. Lingua

Tertii Imperii). Так, за немецким выражением *der Ort der Ordnung und Gerechtlichkeit* (буквально ‘место порядка и справедливости’) скрывалось в тот период обозначение концентрационного лагеря. Есть и более поздние издания, специально посвященные языку гитлеровского режима, например, книги гамбургского журналиста Ф. Бедюрфтига: F. Bedürftig. *Lexikon Drittes Reich*. München, 1997 и др.

Заслуживают внимания издания, отражающие особенности «советского новояза», в частности:

- ✓ *Мокиенко В. М., Никитина Т. Г.* Толковый словарь языка Совдепии. СПб., 1988;
- ✓ *Сарнов Б.* *Наш советский новояз*. Маленькая энциклопедия реального социализма. М., 2005 и др.

Здесь описываются, в частности, такие важные для советского тоталитарного режима понятия, как *номенклатура, троцкизм, жилплощадь, уплотнение, лишенец, битва за урожай, явка обязательна, сын за отца не отвечает* и т. п. Очень интересна статья Юрия Левина о семиотике советских лозунгов, опубликованная в *Wiener Slawistischer Almanach*, Bd. 22 (1988). В последние годы в России появляется масса публикаций на тему «Язык и политика» – книги А. П. Чудинова, Е. И. Шейгал и других авторов. Для сравнения назову еще книгу польского публициста Михала Гловиńskiego, посвященную использованию языка в пропагандистских целях в социалистической Польше: *Głowiński M. Nowomowa po polsku*. Warszawa, 1990.

При сегодняшнем развитии средств массовой информации, как никогда, актуальной становится задача выиграть информационную войну. Особенно важно это при отражении проблемных ситуаций в так называемых горячих точках планеты: при описании локальных войн, катастроф, восстаний и массовых беспорядков и т. п. Это тоже составляет объект психолингвистики речевого воздействия.

Языковые средства, используемые с данной целью, чрезвычайно многообразны. Это и морфологические категории (например, лицо, наклонение, число и др.), и синтаксические конструкции, и даже – на письме – знаки препинания (в частности, В. Клемперер в упоминавшейся выше книге продемонстрировал особую роль кавычек в текстах тоталитарных режимов). Но главное средство на службе у функции речевого воздействия – это, конечно, лексика. Причем речь идет не только об «идеологически маркированных» словах, вроде *руководитель/главарь, разведчик/шпион,*

повстанец/мятежник, помощник/пособник, предприниматель/делец, известный/пресловутый и т. п., но и о словах, казалось бы, самых обычных. С помощью этих обычных, нейтральных названий говорящий успешно манипулирует сознанием слушающего, навязывает ему определенное видение мира.

Например, слово *стабильный* в своем основном значении означает 'постоянный, не меняющийся во времени'. Однако у этой лексемы очень сильна положительная коннотация (мы приучены к мысли, что «стабильно» – это «хорошо»). И даже когда *стабильно* попадает в совершенно неуместный, противоположный по смыслу контекст, оно «срабатывает». Так в сообщениях о «стабильно тяжелом» или «стабильно критическом» состоянии больного слово *стабильно* должно нас успокаивать. Точно так же употребление определений *проблемный* (*проблемная ситуация, проблемная кожа*), *неоднозначный* (*неоднозначное решение*), *неадекватный* (*неадекватная реакция*), *несерьезный* (*несерьезный человек*) и т. п. способствует созданию в глазах читателя отрицательной, принижающей характеристики предмета, хотя основное значение этих прилагательных такого оттенка не предполагает.

Есть и другие сферы современной жизни, в которых психолингвистика находит себе место. Говоря о сегодняшнем состоянии этой науки, следует сказать также о ее тесном сотрудничестве с другими лингвистическими направлениями, прежде всего **функциональным**. Об этом я уже упоминал в прошлой лекции. Функционализм в языкознании означает учет того, с какой целью происходит общение. К чему стремятся говорящий и слушающий? Какую роль играют при этом отдельные элементы языка? Почему язык устроен так, а не иначе? С каких позиций мы изучаем речевой акт? и т. д. Однако, в отличие от психолингвистики, функциональное направление не прибегает к эксперименту, а ограничивается наблюдением.

Функциональный подход к языку часто связывают с определенной школой в лингвистике: Пражским лингвистическим кружком (С. О. Карцевский, Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон, В. Матезиус и др.). Но стремление рассмотреть язык под углом его функционирования («в языке есть то, что работает в речи») было свойственно многим ученым. Фактически функционализм – единственная возможность объяснить устройство языка через его предназначение. Можно сказать, что настоящая лингвистика всегда функциональна.

В современном языкознании широко известна теория функциональной грамматики петербургского профессора Александра Владимировича Бондарко и его сотрудников. Согласно этой теории, в сознании носителя языка существуют объемные функционально-семантические поля (ФСП), типа «персональность», «локативность», «темпоральность», «модальность», «посессивность» и т. п., позволяющие человеку познавать действительность и оперировать ее фрагментами. Центральную (ядерную) часть такого поля, как правило, занимает грамматическая морфологическая категория (лицо, время, наклонение и т. п.). В ходе речевой деятельности человек выбирает, соотносит, комбинирует разные средства, которыми располагает ФСП. Например, в конкретной ситуации, говоря о себе, он может сказать примерно так:

«Я прочитал эту книгу. Но мне она не понравилась. Думаю, нам сегодня не такие книги нужны. Тут многие говорили то же самое. Мне кажется, современный читатель уже этот этап прошел» и т. д.

Здесь говорящий позиционирует себя через личное окончание глагола (*думаю*), личное местоимение *я* (*мне*), а также обобщенно во множественном числе – *мы* (*нам*), и даже описательно, завуалированно – через наречие *тут* и номинацию *современный читатель...* Всё это – прямые или косвенные средства ФСП персональности. Понятно, что в ходе порождения текста говорящий не фиксирует своего внимания на том, как именно сказать о себе: «я» или «мы», «наш брат» или «автор этих строк» – но язык предлагает ему готовые образцы такого словоупотребления.

Функциональный подход, если он осуществляется в направлении от значения к форме, требует исчисления (систематизации) некоторых исходных смыслов. Это могут быть семантические операторы типа глубинных падежей Чарльза Филлмора: «объект», «адресат», «инструмент», «локатив» и т. п. Все версии функциональной грамматики – голландца Симона Дика, американца Роберта Ван Валина, финна Арто Мустайоки, москвички Майи Владимировны Всеволодовой и других – разрабатывают эту «идеографическую» базу.

Функциональный подход также ставит на повестку дня вопрос о реальной стоимости лингвистических построений. Не следует ли различать грамматику «натуральную», наивную, заложенную в самом языке, и грамматику «внешнюю», создаваемую лингвистами и в чем-то, по выражению польского языковеда Петра

Жмигродского, уподобляющуюся игре? Отсюда вытекают практические рекомендации по минимализации лексикона и «централизации» (оптимизации) грамматики в дидактических целях. Зачем учащемуся запоминать огромное количество сведений о языке, если можно обойтись необходимым минимумом: наиболее частыми словами, наиболее активно используемыми словообразовательными моделями, синтаксическими схемами и т.п.? Очевидно, что эти вопросы напрямую соотносятся с прикладными психолингвистическими проблемами.

Действительно, грамматик (т. е. описаний языка) в современном мире стало много. И дело не в разных авторах, а в разных аспектах, или подходах. Кроме уже упомянутых генеративной грамматики, модели «Смысл ↔ Текст» Мельчука, функциональной грамматики в версии Бондарко, Всеволодовой, Дика, Мустайоки, других авторов, следует назвать еще «ассоциативную грамматику» Ю. Н. Караулова, «лексическую грамматику» А. Н. Шарандина, «креативную грамматику» Е. Н. Ремчуковой, и все они имеют отношение к изучению процессов речевой деятельности человека.

В частности, «Ассоциативная грамматика» уже знакомого нам Ю. Н. Караулова основывается на гипотезе, что «грамматика, которая находится в распоряжении стихийного носителя языка, вся сплошь лексикализована, привязана к отдельным лексемам, как бы распределена между ними...» (Караулов Ю. Н. Ассоциативная грамматика русского языка. М., 1993). Изучать такую грамматику можно, опираясь на данные ассоциативных экспериментов, создающих в совокупности «ассоциативно-вербальную сеть». (Это подтверждает близость данной модели к психолингвистическим.)

Дело в том, что испытуемые в этих экспериментах (о них еще будет идти речь на одной из следующих лекций) реагируют на слово-стимул не только парадигматическими связями, типа *бабушка – внучка*, *бабушка – пенсия*, *бабушка – седина*, но и синтагматическими, типа *бабушка – седая*, *бабушка – вспомнила*, *бабушка – дедушке*. Вот эти последние Караулов считает реакциями грамматикализованными, отражающими реальную грамматику, функционирующую в сознании носителя языка. Таких грамматикализованных реакций в общем числе ответов – не менее половины. А если стимул приводится не в исходной форме, а в какой-то косвенной (падежа, лица, рода и т. д.), то эта доля еще более возрастает: на стимул *начну* частые ответы – это *сначала*, *завтра*, *делать* и т. п., на стимул *пальца* самый частый ответ –

нет и т. п. Это подтверждает, что испытуемый, даже находясь в искусственных условиях эксперимента, пытается, отталкиваясь от слова-стимула, создать своего рода мини-текст.

У «Ассоциативной грамматики» Караулова довольно интересные перспективы: она позволяет выстроить русские падежи по степени их «важности» для сознания в такую последовательность: винительный, именительный, предложный, родительный, творительный, дательный. Она помогает также выявить психологическую специфику частей речи и отдельных граммем в речевой деятельности.

Концепция «лексической грамматики» Анатолия Леонидовича Шарандина также основана на идее, что грамматические значения тесно переплетаются в языковой системе с лексическими. Но она подходит к этой взаимосвязи как бы с другой стороны. Имеется в виду, что лексико-семантическая группа слов, как правило, имеет свои грамматические признаки. Это значит, что морфологические категории способны группировать и «шифровать» лексическую семантику.

Возьмем для примера глаголы. Они обладают в русском языке разветвленной словоизменительной парадигмой (лицо, число, наклонение, время, залог) и словообразовательными возможностями. Но значит ли это, что каждый глагол с одинаковой легкостью образует все возможные производные формы? Вовсе нет.

Например, есть ряд глаголов, которые употребляют только в 3-м лице, обозначая природные состояния или физиологические процессы: *светать, темнеть, подмораживать, сквозить, холодать..., тошнить, знобить, трясти, першить, шуметь (в голове), звенеть (в ухе)* и т. п.

Далее, есть глаголы, которые образуют личные формы только во множественном числе: *собираться, расходиться, сбегаться, сливаться, скапливаться, толпиться* и т. п.

Есть глаголы, которые, употребляясь в 1-м лице единственного числа настоящего времени, получают особое значение: они обозначают действие, которое сами же и называют (это так называемые перформативы): *я обещаю, я клянусь, я объявляю, я заявляю, я присягаю, я прошу* и т. п.

Есть глаголы, которые присоединением суффикса и чередованием в корне легко принимают значение многократности, ср. *ходить – хаживать, читать – читывать, сидеть – сиживать, говорить – говаривать* и т. п. Но другие глаголы таких производных не образуют: нельзя сказать «езживать» или «думывать».

Так, может быть, для каждой лексико-семантической группы глаголов характерен свой набор грамматических категорий и морфологических форм? Шарандин устанавливает в русском языке 19 типов лексем и столько же моделей наборов грамматических категорий. Прочитую:

«Глагольные лексемы [...] избирательно относятся к набору не только форм той или иной категории, но и к набору грамматических категорий вообще» (Шарандин А. Л. Курс лекций по лексической грамматике русского языка. Тамбов, 2001).

Та же внутренняя взаимосвязь и взаимодействие лексической семантики и грамматики проявляется в многозначных лексемах. Скажем, глагол *учить* в русском языке – многозначный. Словари насчитывают у него до 10 значений ('передать знания', 'преподавать', 'воспитывать', 'наказывать', 'излагать' и т. п.). И оказывается, что каждое из этих значений достаточно четко «подтверждается» своим набором формальных признаков. Так, *учить* в значении 'передать знания' обладает максимально широким набором форм, *учить* в значении 'преподавать' не имеет совершенного вида, а *учить* в значении 'наказывать' образует совершенный вид как *проучить*...

Важно, что эти внутренние связи присутствуют не только в описаниях языка, но они участвуют в самих процессах речевой деятельности.

Наконец стоит еще остановиться на «креативной грамматике» московского профессора Елены Николаевны Ремчуковой. Она исходит из того, что потенциал грамматических отношений, заданных в сознании носителя языка, значительно шире тех границ, которые устанавливаются нормой литературного языка. И говорящий в каждый момент готов перешагнуть эти границы и создать окказиональную форму или конструкцию. Прочитую:

«В рамках потенциальных и продуктивных грамматических структур зарождается окказиональность – слово или форма, обладающая более яркой индивидуальностью, преодолевающая сопротивление лексического значения основы. [...] Креативные возможности, скрытые в самой грамматической единице языка, как правило, основаны на нарушении (в большей или меньшей степени) грамматической нормы, что создает эффект формы обновленной, неожиданной» (Ремчукова Е. Н. Креативный потенциал русской грамматики. М., 2005).

Можно показать это на примере русской категории вида, которая, будучи очень сильно ограниченной лексическими условиями,

в речевой деятельности то и дело нарушает эти запреты и демонстрирует всеобщность противопоставления по однократности – многократности, предельности – неопредельности действия. Это касается, в частности, так называемых вторичных имперфективов (т. е. глаголов несовершенного вида, образованных от совершенновидовых): *ущипнуть* – *ущипывать*, *выхлопотать* – *выхлопотывать*, *намочить* – *намачивать*, *разлюбить* – *разлюбливать*, *затеряться* – *затериваться* и т. п. Примеры из книги Ремчуковой: *ничего не пропадает в душе человека, ничто не затеривается в ней; у нас такой большой дом, что все заблуживаются в нем; мне кажется, что мы все время перетруживаемся; там иногда такие рожи пробегивают* и т. п. Это, действительно, феномен, весьма характерный для современной русской речи. Считая, что перед нами – проявление «гармонии языка и речи», исследовательница хорошо осознает, что степень такой речевой свободы различна в разных жанрах. Она, собственно, и идет от наблюдаемых фактов к определению жанров.

Рассмотренные нами лингвистические концепции изучают как языковую способность человека, так и особенности воплощения этой способности в тексты. Иными словами, они имеют прямое отношение к изучению речевой деятельности и, следовательно, к психолингвистике.

НОМИНАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС. НАЗВАННОЕ И НЕНАЗВАННОЕ ВОКРУГ НАС

Одна современная научно-популярная книга, изданная в России («Как возникают названия», автор – Е. И. Голанова), начинается такими словами: «Всё в окружающем нас мире имеет название». Так ли это?

Человек живет в мире вещей. Но в то же время он живет и во втором, параллельном ему мире – мире слов. Отсюда проистекает иллюзия, что каждому предмету соответствует свое название. И кажется, что даже если, скажем, я не знаю названия этого конкретного предмета, то должны быть другие люди, которые это название знают...

На самом деле человек поступает в этом отношении в высшей мере избирательно: он называет только то, что ему ближе всего, нужнее всего. Приведу пример. Один мой знакомый купил в магазине пару обуви. Туфли были известной фирмы, очень хорошего качества. Однако буквально на второй день обнаружился дефект. Дырки для шнурков окружены такими металлическими окантовками, колечками – наверное, для того чтобы шнурки лучше скользили и не рвали кожу. Так вот одно из таких колечек выпало. Мой знакомый задумался: а как сказать: что выпало? Как называются эти детальки обуви? А никак. Ему пришлось принести в магазин туфли и показать продавцу. «А-а, – *блочки*, – обрадовался тот. – Сейчас заменим».

Я попробовал провести мини-эксперимент. Попросил 10 человек, своих знакомых, назвать, из чего состоит обувь – перечислить всё, вплоть до мелких деталей. В результате были получены более 60 разных названий. Какие-то из них повторялись много раз (так, все десять испытуемых упомянули *подошву* и *шнурки*, 9 человек – *каблук*, 8 – *стельку* и *набойку*, 6 – *голенщице* и *задник*). Встречались даже такие экзотические детали, как *уши*, *бант*, *стразы*, *пуговица*... Но ни один человек не упомянул окан-

товочки в отверстиях для шнурков. Может быть, виновато отсутствие для них общепринятых названий? Не получается ли, что то, что не имеет названия, как бы и не существует для нас? Как писал Н. И. Жинкин, «любая вещь, даже воображаемая, к какой бы области сенсорики она ни относилась, может стать заметной только если имеет имя» («Речь как проводник информации»).

Ну хорошо, допустим, детали обуви – довольно специфическая вещь, мы имеем право не знать, как они называются. А вот наше собственное тело – уж что, казалось бы, может быть нам более знакомым? И, тем не менее, здесь, как на географической карте, полно словесных белых пятен. Спросим себя: как называется по-русски верхняя часть головы, между лбом и теменем (макушкой)? Да только так, описательно, и называется: *верхняя часть головы*. А тыльная сторона ладони? Тоже по-другому не скажешь, только: *тыльная сторона ладони*. Как называется место между носом и губой? Никак, скажете вы: а зачем его специально называть? А пальцы: назовите их по очереди. В ответ мы получим: *большой, указательный*, затем, с некоторой заминкой, *средний, безымянный*, и, наконец, с облегчением: *мизинец*. А пальцы на ноге? Ну, *большой* и *мизинец* мы еще выделим, а остальные просто пронумеруем: *второй, третий*... А выемки, промежутки между пальцами – как они называются? Ну, уж это слишком...

Конечно, название – необходимое условие познания. Есть такой афоризм: «Назвать – значит понять». И в нем – значительная доля истины. Хотя Выготский когда-то сказал: «Название никогда не бывает в начале своего возникновения понятием». Это значит – называя предмет, мы еще не осознаем его сущности, не осознаем в полной мере его места в системе вещей. Это знание придет позже... И, тем не менее, присваивая предмету имя, мы делаем на пути познания первый шаг: мы выделяем предмет из всей массы ему подобных, мы его **замечаем**. А это – основа для того, чтобы в дальнейшем работать с ним, оперировать им. Известно множество свидетельств того, как удачно выбранное название стимулировало дальнейшую деятельность человека.

Может быть, самый известный пример – слово *кибернетика*, придуманное американским физиком Норбертом Винером (1894–1964) для нового направления науки. В 40-е годы XX века Винер со своими сотрудниками занимался изучением весьма разнообразных объектов, в том числе функционирования живого организма, процессов, протекающих в обществе, математического обеспечения

расчетов артиллерийской стрельбы и т. п. И было непонятно, что все эти исследования объединяет. И только когда Винер назвал свою книгу «Кибернетика» (от греч. *kybernētiké* ‘искусство управления’), т. е. «наука об управлении и связях», новая дисциплина получила общественное признание и стала стремительно развиваться. Сегодня кибернетика прочно заняла свое место в системе научных исследований.

Но вот пример посвежее, возникший на наших глазах. Тысячи лет человечество занималось торговлей, а это значит закупкой, перевозкой, хранением и продажей товаров. И только в конце XX века люди поняли, что есть основания выделить эту сферу деятельности (транспортировку, распределение и хранение товаров) в отдельный вид, и назвали ее *логистикой*. Сегодня есть уже масса фирм, которые занимаются логистикой, есть теоретические труды и практические рекомендации по логистике; логистика появилась в списке специальностей, на которые набирают в вузах студентов. И даже кажется странным, что раньше логистики не было.

Конечно, название, номинация, как и вся речевая деятельность, обусловлена культурой данного социума. Польский языковед Витольд Дорошевский обращал внимание на факты **излишней номинации** – он называл их «языковым бюрократизмом». В частности, он рассказывает, как еще перед Второй мировой войной, будучи в Германии, зашел в Гамбурге на почтамт и был удивлен тем, что перед лестницей, ведущей на второй этаж, была табличка: *Treppe*, т. е. «лестница». Название в таком случае может служить как бы самодостаточным эквивалентом самого предмета. В той же книге Дорошевский рассказывает, как две немки, оказавшись на курорте, пошли гулять к морю. И когда они дошли до указателя *Zum Aussichtspunkte*, т. е. «К месту обзора», одна из них воскликнула: *Ach, wunderschön!*, т. е. «Ах, прекрасно!» – надписи было ей уже достаточно, дальше можно было не идти...

Каждое общество определяет не только что нужно называть, но и что **нельзя** называть. Это так называемые табу. Известно, что в древних обществах запрещалось называть по имени самых почитаемых и дорогих людей – вождя племени или близких родственников. Табуировались названия животных, на которых охотились или которые представляли собой наибольшую опасность. Чтобы не накликать несчастье, нельзя было называть смерть, болезнь, нечистую силу.

В современных социумах запрет на употребление названий может быть связан с моральными или идеологическими установ-

ками. В таком случае используют смягченные названия: эвфемизмы. Примерами могут служить такие случаи, как *пожилой* вместо *старый*, *полный* вместо *толстый*, *онкология* вместо *рак* (*У нее онкология*), *ритуальный* вместо *похоронный* (*ритуальные услуги*), *развивающиеся страны* (или *страны третьего мира*) вместо *слаборазвитые* (или *неразвитые*) *страны*, *антитеррористическая операция* вместо (*локальная*) *война*, *несанкционированный отбор* вместо *воровство* и т. п. Об использовании эвфемизмов тоталитарными режимами мы уже говорили.

Но в данном случае я хочу порассуждать о другом – о самом процессе выбора названия. Рассмотрим сначала несколько ситуаций спонтанной разговорной речи.

Допустим, человеку, говорящему по-русски, надо сказать что-то про мобильный телефон. Он может употребить в своей речи словосочетание *мобильный телефон* или воспользоваться одним из существующих однословных названий: *мобильник*, *мобила*, *сотовый*, *сотовик*, *сотик*, *труба*, *трубка*, *ручник* и т. п. Понятно, почему в этом случае выбор так широк: сам предмет еще сравнительно нов, и названия не «отстоялись», не установились. Со временем, наверное, победит какая-то одна номинация. Но выбор конкретного слова из данного ряда, в общем, довольно случаен. Если что-то говорящий здесь оценивает, то, пожалуй, лишь степень разговорности. А первоначальная мотивировка данных названий («Почему предмет так назван?») уже роли не играет, она стирается, и человек как бы «забывает», что он имеет дело с мобильной или сотовой связью – названия *мобила* или *сотик* существуют сами по себе...

Можно подтвердить этот комментарий литературными свидетельствами. Приведу цитату из книги Льва Успенского «Записки старого петербуржца»:

«На Невском, между Владимирским и Николаевской, на нечетной стороне проспекта, был тогда открыт первый то ли “**синематограф**”, то ли “**иллюзион**”, а может быть, даже и “**биоскоп**”, – слово еще не утряслось, не кристаллизовалось. Имя ему было – “Мулен руж”».

И здесь новое явление имеет множественное название, которое со временем «монополизируется», узаконивается в слове *кинематограф*, или, сегодня, *кинотеатр*, или, еще короче – *кино*. Причем вариативность, присущую названию на определенном этапе, можно понимать двояко: или это один человек в ту пору называл кинотеатр *синематографом*, другой – *иллюзионом*, а тре-

тий – *биоскопом*, или же один и тот же человек употреблял то одно, то другое, то третье название.

Во втором случае психолингвистическая сторона выбора заслуживает более подробного рассмотрения. Равноценны ли «кандидаты» на роль необходимого названия? По каким признакам происходит их отбор? Как сужается сфера поиска слова? Вот пример реальной ситуации (собственная запись, 2005 г.). Женщина, примерно лет 50-ти, рассказывает о кинофильме:

«Рекламу видела фильма. Название... не помню – «Сны»? «Сновидения»?.. Но артисты задействованы – весь цвет. Причем сказали, что узнать вам их будет трудно... Михалков там... Нет, «Прятки» – вот как называется! [минутная пауза] Не «Прятки», а «Жмурки»! «Жмурки»!!»

Здесь говорящий выбирает название из некоторого ряда слов, обладающих определенной семантической общностью («представление о чем-то скрытом, неявном»). Причем любопытно, что постепенное сужение лексического поиска (*сны – сновидения – прятки – жмурки*) происходит в определенных грамматических пределах: говорящий как бы изначально знает, что это существительное, причем во множественном числе!

Приведу теперь пример из сборника «Русская разговорная речь. Тексты» (М., 1978; знаки препинания в оригинале по понятным причинам отсутствуют; паузы обозначены косячками, у нас они заменены многоточиями):

«...А в Кюоккале были такие... **бетонные или цементные я не знаю...** дорожки... Но не у самой воды... а так... по краю».

Здесь многие свойства обозначаемого говорящему безусловно известны: это ‘твердый, как камень’, ‘используемый для строительства’, ‘серого цвета’ и т. п. Вместе с тем говорящий считает необходимым эксплицировать свои номинационные сомнения: *бетонные или цементные, я не знаю*. Любопытно, что рядом он прибегает к еще одному типичному для разговорной речи средству, используемому в затруднительных ситуациях: к местоименному субституту: *не у самой воды, а так* (т. е. ‘поодаль, на некотором расстоянии’).

Подобные примеры помогают лингвисту смоделировать не только процесс поиска лексем, но и внутреннее строение всего лексического состава. Логично предположить, что весь лексикон распадается на некоторые глобальные смысловые сферы (типа «Абстрактные отношения», «Пространство», «Материя», «Интеллект», «Эмоции» и т. д.). Эти сферы подразделяются на

темы, те, в свою очередь, на семантические группы и подгруппы и т. д. Такой **тезаурусный** принцип строения лексикона не только отражается в соответствующих «тематических» словарях (классический образец – «Тезаурус английских слов и выражений» П. М. Роже (P. M. Roget)), но, по-видимому, в значительной степени соответствует последовательности реальных процессов, протекающих в сознании человека. Об этом говорят не только случаи сомнений говорящего при выборе слова, но и случаи явных ошибок – обмолвок. Следующая иллюстрация – из того же сборника «Русская разговорная речь»; беседа на сей раз идет о музыке:

«...Это такой крепкий фундамент получается! Вы знаете?! Потому что... обычно... когда играешь... то думаешь о левой... о правой руке. Правой руке больше поручено гораздо».

Говорящий, несомненно, знает, что основной рабочей руке (обычно – правой) пианист уделяет больше внимания. Но в его сознании эпитеты *правая* и *левая* теснейшим образом связаны. И происходит механический сбой, одно слово из той же семантической подгруппы «выскакивает на поверхность» вместо другого.

Все эти ситуации – с множественным (вариативным) названием и с неточным (приблизительным или ошибочным) названием – вполне естественны и типичны, знакомы каждому человеку. Отражаются они и в художественной литературе. Приведу цитату.

«Вениамин Гонт бережно вел подопечного, твердо держа его за рукав. Коробейников безусловно подчинялся направляющей руке своего брата? или друга? или проводника?» (В. Нецаев. Последний путь куда-нибудь).

Говорящий – в данном случае рассказчик, – не уверенный в выборе слова, предлагает читателю весь спектр, весь набор подходящих лексем. Понятно, что не каждый писатель и не в каждом произведении себе такое позволит. Это свойственно авторам, исповедующим тонкий психологизм. С одной стороны, таким образом отражается реальная разговорная речь, с ее обрывами, перебивками, колебаниями и исправлениями. А с другой стороны, читатель как бы приглашается в соавторы, в соучастники речемыслительного процесса. Такая игра в метаязыковую рефлексию характерна, например, для идиостиля московского прозаика Андрея Битова, ср. следующие цитаты:

«Великолепный водитель? шофер? капитан? лениво и чересчур пластично поднимается с нагретых досок [...] и, как бы не глядя на дам, проходит сквозь нас и занимает свое место у руля? штурвала? баранки?» (А. Битов. Уроки Армении).

«Перед ним затемнело что-то большое, высокое и округлое вверху. Он передумал всякое, это ему представлялось даже огромной головой, хотя он уже понимал, что это **скирда, или стог, или копна – как это там называется...**» (А. Битов. Роль).

«**“Есть! Есть еще выход... Затеряться среди людей, раствориться в них... слиться, исчезнуть... уподобиться, сравняться”**, – чем больше находил он смирения в глаголе, тем больше тот устраивал его. Глаголы эти цепенели в теле Монахова, и боль утихала» (А. Битов. Роль).

Это состояние «блуждания вокруг денотата» (по выражению московского профессора Майи Валентиновны Ляпон), несомненно, отражает процессы, происходящие во внутренней речи. Поиск нужного слова ориентирован на определенную лексико-семантическую группу, а уже на следующей ступени он фокусируется на конкретной лексеме.

Классическим образцом такого поиска для русскоязычного читателя является рассказ А. П. Чехова «Лошадиная фамилия». Сюжет, напомним, таков. У отставного генерал-майора разболелись зубы и надо найти человека, который их успешно заговаривает (лечит). «Фамилия простая, как бы лошадиная». Все окружающие пытаются помочь, напоминают варианты: *Жеребцов? Жеребчиков? Кобылин? Конявский? Копытин? Тройкин? Меринов?* Что еще может быть связано с лошадью? В конце концов, когда уже было поздно (зуб вырвали), оказалось: искомая фамилия – *Овсов!* (Действительно, овес – типичный корм для лошади.) В рассказе челядь генерала, его окружение, пытается реализовать тему «лошадь» в разных семантических направлениях: «виды лошадей» (*Жеребцов, Жеребчиков, Кобылин...*), «части лошади» (*Копытин*), «способы использования лошадей» (*Тройкин*) и т. п. И это вполне правдоподобный способ ассоциирования.

Слово как элемент словарного запаса, хранящегося в голове человека, представляет собой узел семантической сети, одновременно связанный различными, многомерными связями с другими подобными узлами. Существует целый ряд специальных работ (на русском языке – А. А. Залевской, Р. М. Фрумкиной, Н. В. Уфимцевой, А. П. Клименко и др.), посвященных организации лексикона в сознании человека; я сейчас на них не буду останавливаться.

Поскольку говорящий, выбирая слово, в обычном случае довольно сильно ограничен временем, а пробы и исправления его не очень устраивают, то он либо удлиняет паузы, либо использует то,

что считается типичным проявлением **хезитации** (речевых колебаний). Для русского языка это междометия, необязательные вводные слова и тому подобные «речевые паразиты»: *э-э, м-м, это, ну как его, того, в общем, как сказать, что называется* и т. п. В разговорной речи это тоже вполне естественное явление. Уже цитировавшийся ранее поэт Александр Кушнер написал в одном стихотворении:

Меня, как всех, не раз, не два
Спасали вводные слова,
И чаще прочих среди них
Слова «во-первых», «во-вторых».
Они, начав издавека,
Давали повод не спеша
Собратся с мыслями, пока
Не знаю где была душа.

Бывает, что говорящий выбрал и произнес конкретное слово, но тем не менее остался недоволен сделанным выбором. Тогда он может обратить на это внимание слушающего, специально об этом сказать. В частности, для этого используются оговорки типа *как говорят, можно сказать, так называемый, что ли, как это, типа, не то чтобы, а...* и т. п., в письменном тексте – кавычки и другие пунктуационные средства. Соответствующие примеры:

«Этот господин [о Набокове] весьма повязан материальным миром. И именно в этом смысле он для меня слишком **«современный», что ли**» (С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским).

«По соседней улице проходила трамвайная линия, на ближайшем углу была фабрика-кухня, а напротив – стена неизвестного монастыря, **хотя, может быть, отнюдь не монастыря**» (В. Пьецух. Предсказание будущего).

Конечно, у человека в ходе порождения текста есть и другие варианты речевого поведения. В частности, если подходящее слово не всплывает в памяти или же кажется излишне «детализованным», говорящий может воспользоваться более общим (родовым) названием – гиперонимом. Например, вместо *шумовка* сказать *поварешка*, вместо *фолиант* – (*толстая*) *книга*, вместо *мобильник* – просто *телефон* и т. п. Эта ситуация имеет отношение не только к номинации, но и к когнициии, к познавательному процессу.

Дело в том, что отнесение предмета к той или иной категории связано с определенным уровнем обобщающей работы сознания. Говоря иначе, категоризация действительности может иметь различные уровни, и эти уровни обобщения закрепляются в соответствующих словах. Об одном и том же предмете мы можем сказать:

фрукт, яблоко, антоновка. Но в подобной иерархии названий один из уровней (средний, промежуточный) является основным, базовым. В нашем примере это, конечно, яблоко. Вряд ли, оказавшись на рынке, мы скажем: «Смотри, какие фрукты!» Маловероятно и чтобы мы сказали: «Смотри, какая антоновка!» А вот «Смотри, какие яблоки!» – совершенно естественная фраза. Названия, относящиеся к базовому уровню категоризации, отличаются некоторыми свойствами. Они должны быть однословными, причем это, как правило, слова непроездовые, характеризующиеся относительно высокой частотой употребления и стилистической нейтральностью. Формирование базовых категорий человеческого мышления опирается не только на чувственное восприятие, но и на ментальные образы и роль соответствующих реалий в культуре. Это было установлено во второй половине XX века исследованиями американского психолога Элеоноры Рош и ее коллег.

Но что значит – роль реалий в культуре? Скажем, современный горожанин, житель Москвы или Минска, довольно уверенно выделяет из всех птиц голубя, воробья, ворону, синицу (не говоря о крупных видах – аистах и т. п.). Но для всех остальных птиц он склонен использовать гипероним *птица*. Слова вроде *иволга* или *трясогузка* остаются для него пустыми оболочками, он не способен их идентифицировать с реальными объектами. Точно так же носитель русского языка хорошо различает розу, тюльпан, гвоздику, ромашку... А вместо многих других названий цветов он употребляет обобщенное *цветы*, что свидетельствует об обеднении «природной» части его лексикона. Это тревожит сегодня социологов, экологов, культурологов. Педагоги особенно обеспокоены оскудением словаря подростков. Героиня рассказа «Акселератка» Виктории Токаревой так отзывается о своих сверстниках:

«...Знать много слов совершенно не обязательно. Мальчишки в нашем классе **вообще обходятся шестью словами**: точняк, нормалёк, спокуха, не кисло, резко, структура момента».

И дело здесь, конечно, не только в экспансии жаргонизмов, но и в исчезновении «обычных» слов. Вот как пишет уже цитированный мною Андрей Битов:

«Видовое разнообразие живого стремительно тает, впереди этой трагедии отмирают слова, они погибают раньше. Сетовать ли на обеднение словаря или воспринимать его как предупреждение, следующее с опережением...?» (эссе «Битва»).

Проявлением процесса обеднения лексикона может быть также активизация существительных-субститутов типа *штука, шту-*

ковина, фиговина, дело, вещь и т. п. Это тоже вполне реальный факт современной русской речи. Данные слова универсальны по своей референтной отнесенности, т. е. применимы к множеству реальных предметов, но денотативно пусты, как местоимения, ср.: *Дай мне эту штуку...* (так можно сказать про стамеску, фен, тёрку, карниз для занавесок, подставку для чайника и многие другие предметы).

Поскольку выбор номинации обусловлен лексическим запасом говорящего и его предшествующим (не только речевым) опытом, то в этом смысле он индивидуален. В следующем примере я продемонстрирую весьма своеобразный синонимический ряд в идиоме конкретного персонажа.

«Я пошел на Нотр-Дам и снял там **мансарду**. **Мансарда, мезонин, флигель, антресоли, чердак** – я всё это путаю и различия никакой не вижу. Короче, я снял то, на чём можно лежать, писать и трубку курить» (Вен. Ерофеев. Москва – Петушки).

Затруднения в выборе конкретного слова могут приводить говорящего к окказиональным, разовым номинациям: выбирается слово, которое ближе других «оказалось под рукой». Пример из русской классической литературы:

«– ...Избирайте, сударь, избирайте немедленно: или я, или этот... **винт!** Да, винт! Я сказал нечаянно, но это – **винт!** Потому что он винтом сверлит мою душу, и безо всякого уважения... **винтом!**

– Не штопор ли? – вставил Ипполит.

– Нет, не штопор, ибо я перед тобой генерал, а не бутылка...» (Ф. М. Достоевский. Идиот).

Здесь генерал Епанчин ищет подходящее сравнение – название для человека, который его раздражает, внедряется в его душу, буравит ее, сверлит... И из всех возможных слов – *сверло, бурав, штопор, бур, винт...* он выбирает случайное, наименее подходящее *винт* (случайное, потому что винт как раз не сверлит!).

Но выбор «чужой», окказиональной номинации может быть оправдан эстетической сверхзадачей. Это значит, что говорящий проделал определенную мыслительную работу, соотнося два понятия, и выбрал не прямое, замаскированное (чаще всего метафорическое) наименование. Примеры:

«Еще до Кубелика два дельца-предпринимателя, один из Мюнхена, другой из Гамбурга, решили основать крупное дело. Куда вернее всего положить деньги? В это время пошли большие разговоры о скрипках Добрянского. Это были **соболя**» (М. Лоскутов. Немного в сторону; в данном контексте *соболя* означает ‘ценности’).

Ранее в рассказе говорилось о том, что соболий мех обладал в те времена наибольшей ценой).

«По телевидению смотри девятую программу, остальное всё зола» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Хищные вещи века; здесь зола – ‘чепуха, глупость’).

«...Мы решили как-нибудь отпраздновать это событие и купили белые обои с зелеными веночками [...] А чтобы дворцовая атмосфера была уж совсем роскошной, мы старые обои отдерем до голой фанеры и наклеим наш помпадур на чистое» (Т. Толстая. Изюм; здесь помпадур – ‘роскошное оформление’).

«Игнатий играл чисто и строго, прячась в музыке от вторников своей жизни» (В. Токарева. Рарака; здесь вторники – ‘будни’, ‘серое однообразие’).

Таким образом, говорящий не просто «блуждает» в паутине слов, но он имеет дело с некоторыми темами или, уже, лексическими группами и подгруппами: с синонимами и квазисинонимами типа *скрида* – *копна*, с гипонимами и гиперонимами типа *скворец* – *птица* или *вторник* – *будень*, с меронимами (словами, обозначающими часть от целого) типа *рука* – *палец* и т. п. Изучая на подобных примерах процесс порождения речи, мы получаем представление о внутреннем устройстве словаря в сознании человека.

Но одновременно мы получаем также представление о природе слова во внутренней речи. Это некий «сгусток значения» или, как уже говорилось, узел в семантической сети, образуемый сочетанием наиболее характерных сем (элементарных компонентов значения). «Размытость» или «нечеткость» слова во внутренней речи означает в то же время его многомерную ассоциативную связь с другими словами – прежде всего входящими в ту же лексико-семантическую группу.

К примеру, если взять русское слово *слеза* (употребляемое чаще во множественном числе – *слёзы*), то его план содержания во внутренней речи образуется такими семами, как ‘жидкость’, ‘горький, соленый’, ‘боль, несчастье’, ‘чистый, прозрачный’, ‘малое количество, капля’, ‘глаза’ и т. п. В той или иной коммуникативной ситуации отдельные семы могут активизироваться, а другие, наоборот, уходят в тень. Сравним такие разные в этом отношении контексты, как: *Слёзы брызнули из глаз; Вода чистая, как слеза; Слёзы подступили к горлу; На срезе бревна выступили слёзы; Разве ж это деньги? Это слёзы!* и т. п.

А лексическое значение слова *кухня* образуется комбинацией таких сем, как: ‘помещение’, ‘для приготовления пищи’, ‘с соот-

ветствующим устройством (плита, печь и т. п.)'. Но мало того: на периферии этого лексического значения обнаруживаются и такие семантические компоненты, как: 'неофициальная часть жилища', 'уют', 'творчество', 'сфера женского труда', 'чад, грязь' и т. д. Отсюда и выражения типа *заглянуть в творческую кухню художника*, «*Какая кухня, такая и песня*» («Вокзал для двоих»), «*А шоферу подать на кухне*», «*Мы с тобой на кухне посидим, Сладко пахнет белый керосин...*» и т. п.

Автору последних, только что процитированных стихотворных строк, поэту Осипу Мандельштаму, принадлежит и образное прозаическое выражение, которым очень уместно завершить эту лекцию:

«Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку» («Разговор о Данте»).

ЗВУКОВАЯ ОБОЛОЧКА СЛОВА, ЕЕ РОЛЬ В РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПАРОНИМИЯ И ЗВУКОСИМВОЛИЗМ

В процессе порождения текста, в том числе при выборе нужных слов, человек, конечно, ориентируется на смысл, на содержание, на значение. Форма слова крайне редко бывает объектом его специального внимания. Нейрофизиологи говорят: именно смысловые ассоциации следует считать системообразующими при описании механизмов речевой деятельности. Это доказывается многочисленными экспериментами. Известный авторитет в области психологии речи Татьяна Николаевна Ушакова систематизирует результаты своих опытов таким образом:

«Реакции по созвучию, как правило, относились к категории второсортных: диффузных, примитивных, простых и т. п.» (Ушакова Т. Н. Функциональные структуры второй сигнальной системы. М., 1979).

Иначе говоря, словесные реакции, основанные на фонетических ассоциациях, – это в каком-то смысле отклонение, патология. Задаваясь в связи с этим общим вопросом, «какую роль в психической жизни человека играют связи по созвучию», автор склонна была сводить их к «особенностям нервной деятельности поэтически одаренных людей».

И, тем не менее, практика показывает: план выражения, проще говоря, форма слова, его звуковой (или буквенный) состав, тоже принимает участие в процессе порождения текста. Вы скажете: как же так: ведь во внутренней речи слово еще лишено формы, звуковой оболочки?

Да, это так. Однако звуковые связи могут **сопровождать** семантический поиск нужной единицы, что говорит о том, что упомянутым «сгусткам смысла» во внутренней речи приданы некоторые – пусть приблизительные, фрагментарные, дифференциальные – фонетические признаки. Об этом говорят те ситуации, когда формально схожие слова (паронимы) смешиваются в со-

знании человека, и вместо одного, нужного, в тексте появляется другое, постороннее. Приведу литературные примеры таких обмолвок:

«– Серега, извини! Я был не прав... Раскаиваюсь... Действовал в состоянии **эфф**екта...»

– **Афф**екта, – поправил я.

– Тем более» (С. Довлатов. Чемодан; слова *эфф*ект и *афф*ект содержат общие семы, но, кроме того, они связаны очевидным формальным сходством).

«– Сапоги у меня были яловые, – откликнулся Замараев, – **деверем** пошиты.

– Как это – **деревом**? – не понял Ероха.

– Дикий ты парень. Русского языка не понимаешь» (С. Довлатов. Зона; собеседник здесь не знает редкого ныне слова *деверь* и воспринимает его как форму слова *дерево*. Кстати, и сам Замараев употребляет это слово неправильно. *Деверь* в русском языке значит ‘брат мужа’; у Замараева не может быть мужа).

«– Какой спектакль? ...У них там **авессалом**, этот... **видеосалон**» (В. Распутин. Твой сын, Россия; лексемы *авессалом* и *видеосалон* семантически никак не связаны, но фонетически очень похожи).

«– Опять вы за столом про это **ландскнехтское** чудовище будете рассказывать? – содрогнулась Екатерина Андреевна.

– Во-первых, не **ландскнехтское**, а **лохнесское**. Это уже должен бы знать каждый образованный человек» (А. Битов. Заповедник; случай, аналогичный предыдущему: обмолвка основана исключительно на фонетическом сходстве двух слов).

«– А для чего ж мы ей траву рвем?

– Для подстилки. Чтоб спать мягче, – сказала Элла. – У нее вот... **череп**... ужас какой жесткий.

– Сама ты череп! У нее **панцирь**! – рассердился Манукян» (С. Лунгин, И. Нусинов. Внимание, черепаха!; обмолвка в детской речи. Это существенно с учетом того, что словарь у ребенка небогатый. Но слова *череп* и *панцирь* связаны как семантически – через семы ‘кость’, ‘твердый’, так и формально, через сочетания звуков [ч]/[ц], [р’], [п]).

Следует оговориться, что обмолвки в речевой деятельности не ограничиваются классическими случаями паронимии, вроде *абонент* – *абонемент* или *артистичный* – *артистический*. Говорящему достаточно нескольких общих «ярких» звуков, чтобы спутать одно слово с другим. Так, один мой знакомый регулярно

путал слова *часы, ключи и спички*; эти названия включают в себя комбинации звуков [ч] – [с], [к] – [ч], [с] – [ч] – [к']; причем всё это двусложные *pluralia tantum*, обозначающие мелкие, «карманные» предметы... Чтобы выбрать конкретное слово, ему нужно было на долю секунды задуматься, включить речевой «контроль».

Ср. еще следующий пример из русской литературы:

«Знаешь, в **зябликах**, вернее, в **яблоках** нашего вертограда сидят черви, надо что-нибудь придумать, какое-нибудь средство, а то останется сплошная труха...» (С. Соколов. Школа для дураков; у слов *зяблики* и *яблоки*, спутанных в речи, общие звуки [б], [л']/[л], [к'], плюс одинаковая слоговая структура).

И еще пример, уже без комментария: старый анекдот. Разговаривают две соседки.

– А твоего *сифилитика* опять дома нету?

– Сколько раз тебе говорить: не *сифилитика*, а *филателиста!*

Любопытно, что именно согласные (как более редкие и трудоемкие в артикуляционном отношении звуки) служат основными «приметами» слова. Для русского языка особую роль в данном плане играют такие выразительные консонанты, как [р], [ш], [щ], [ф], [х]... (Не случайно, видимо, Владимир Маяковский писал когда-то в «Приказе по армии искусства»: «Есть еще хорошие буквы: *Эр, Ша, Ща...*»)

Группы согласных образуют такие опорные звукокомплексы, которые способны связывать в нашем сознании даже весьма далекие друг от друга слова. В частности, сочетание согласных [т], [ф], [р], [л'] может послужить основой для произвольной цепочки ассоциаций типа *трюфель – портфель – портфолио – фильтр – фортель – ультрафиолет – Трефолев – Трафальгар – Труфальдино* и т. д. Правда, при этом стоит напомнить, с одной стороны, что такие связи особенно характерны для патологических состояний сознания (ср. то, что говорилось о маниакально-депрессивном психозе в одной из предыдущих лекций). А, с другой стороны, эти группы согласных заставляют вспомнить о выделяемых в некоторых языках неопредельных единицах – «группофонах» или «квазиморфемах».

В частности, в немецком языке исследователи обращают внимание на группу слов с начальными сочетаниями *bl, fl, gl, schl*: *blitzen, blinken, blinzeln, glitzern, flimmern, flackern* – всем им присуще значение «блестеть, мерцать». Эти слова подпадают под определение паронимии: они могут смешиваться в сознании носи-

теля языка. Точно так же другой группе слов с теми же начальными согласными присуще значение ‘скользить, гладкий’: gleiten, fliehen, glatt, gleich, flach, platt, schleichen, schleifen, schleppen, schlingen и т. д. На основании этого Ю. С. Степанов делал вывод, что противопоставление начальных компонентов p, b, f, g, sch перед l в этих сочетаниях нейтрализуется и группу согласных следовало бы рассматривать как целое (Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. М., 1975).

Вернемся к нашему процессу речепорождения. Обмолвки в спонтанной речи особенно часты, когда опора на общие звуки подтверждается еще какой-то общностью: например, «иностранностью» слов, общими лексическими семами или одинаковой грамматической характеристикой (число, род и т. п.). На этой основе устанавливаются связи между словами типа русского *кобра* – *гидра*, *патологически* – *платонически*, *фолиант* – *левиафан*, *преферанс* – *сервелат*, *крамольный* – *криминальный*, *флора* – *фауна*, *атавизм* – *архаизм* и т. п. (на все эти случаи в моей картотеке записей устной речи есть примеры обмолвок). Разумеется, подобные связи активизируются при ослаблении контроля за речепроизводством. А значит, надо исследовать и те конкретные условия, в которых они возникают. И такие наблюдения тоже есть (в частности, книжка российского автора Ю. В. Красикова «Теория речевых ошибок» (М., 1980) основана на материале работы наборщика).

Аналогичные исследования ведутся и на материале других языков. В частности, 4-й том уже упоминавшейся «Психологии языка» Ф. Кайнца почти целиком посвящен оговоркам и опускам. «Сбои» в процессах речевой деятельности продолжают привлекать внимание психолингвистов в других странах и сегодня. В конце 80-х годов Р. Мерингер опубликовал сборник «отрицательного» (используя термин Щербы) материала на немецком языке (R. Meringer. Aus dem Leben der Sprache. Versprechen und Verlesen. Stuttgart, 1985). А Хелен Лойнингер (H. Leuninger) попыталась систематизировать оговорки в устной спонтанной речи (в частности, случаи, когда человек произносит Giftglasunglück вместо Giftgasunglück, Phänoporie вместо Phänokopie, er liest den Quark вместо Klark и т. п.). На французском материале получила известность монография швейцарского лингвиста Анри Фрея «Грамматика ошибок» (на русский она переведена в 2006 году).

Проблема речевых ошибок не случайно оказалась так привлекательна для лингвистов. «Отрицательный» материал разных

языков позволяет лучше понять, как же в идеале, в нормальном случае, протекает деятельность говорящего и слушающего. Говоря словами замечательного русского грамматиста Александра Матвеевича Пешковского (1878–1933), «совершенно случайные обмолвки открывают иной раз глубокие просветы в области физиологии и психологии речи».

Скажем, исходя из приведенного ранее материала, можно подумать, что формальное сходство слов, паронимия, представляет собой помеху в деятельности говорящего. На самом деле это не так. Дело в том, что каждое слово в одно и то же время связано многочисленными и разнообразными связями с другими словами. Фонетические корреспонденции – один из видов таких связей. И потому формальное подобие может не только сбивать говорящего с толку, но еще и помогать ему найти нужное слово, «наводить» на него. Вот несколько примеров из художественной литературы на русском языке:

«– Ну, знаете! – не выдержала Калинкина. – Нельзя же так **утилитарно** подходить к программе.

– **Утилитарно... утилитарно... утили...** Сбор утиля мы отразили еще в прошлом месяце» (Б. Егоров, Я. Полищук, Б. Привалов. Не проходите мимо; слово *утилитарно* наводит собеседника на мысль об утиле).

«В углу помещения он увидел красный баллон, на котором белели грозные слова «**пропан**». «Да, **пропал**», – подумал снова Степан Степаныч» (Е. Шатко. Сын рисует кошку; здесь увиденное героем слово *пропан* «вытягивает» случайную, но оказавшуюся очень уместной ассоциацию: словоформу *пропал*).

«Табличка – «**Кемери**». Маленький светлый городок, населенный приветливыми, но сдержанными людьми. Может быть, это их называют **киммерийцами**? **Киммерия, химмерия, мечты...**» (А. Вайнер, Б. Вайнер. Женитьба Стратонова; случайно увиденное название железнодорожной станции – *Кемери* (городок в Латвии) – наводит человека на ассоциацию с *киммерийцами*, населявшими древнюю *Киммерию* на берегу Черного моря, оттуда перекидывается мостик к слову *химера* и, далее, *мечта*).

«– **Аппликациями** всё обклеить хотим, – обводя рукой голые стены, произнес молотобоец.

– Лучше – **облигациями**, – продолжая накручивать диск, усмехнулся Фил» (В. Попов. Любовь тигра; формальное сходство *аппликаций* – *облигаций* тут же реализовалось в тексте, говорящему оно пришлось кстати, чтобы выразить иронию по отношению к задумке молотобойца).

Подобные примеры убедительно показывают, что форма может вести за собой мысль! Бывает, что и поиск, так сказать, лошадиной фамилии, т. е. номинации с приблизительными семантическими характеристиками, сопровождается какими-то формальными вехами. И это отражает реальное взаимодействие, «сотрудничество» смысловых и формальных ассоциаций. Приведу пример из собственных наблюдений. В компании филологов хозяин дома заговаривает о лечебных свойствах пчелиного молочка. Однако само название этого вещества у него не вербализуется, только «вертится на кончике языка». Он как бы пробует его вслух: «Ну этот, пенопласт...» И чуть позже: «Как его, палимпсест...» У присутствующих тоже вертится в голове что-то «эллинское», вроде «Персефона» или «Петрополис»... Наконец, жена хозяина дома вспоминает: *прополис!*

А если вспомнить то, что говорилось о роли, которую играет фонетика в литературном, особенно поэтическом, творчестве, то становится несомненно, что процесс выбора названия во внутренней речи уже на самом раннем этапе затрагивает и форму слова.

Один пример. По-русски существует такое крылатое выражение: *Платон мне друг, но истина дороже*. Это вообще-то калька с латинского: *Amicus Plato, sed magis amica veritas*, буквально: ‘Платон друг, но истина больше друга’. Но любопытно, что в русском варианте вместо «больше» или «важнее» появляется перевод *дороже*. И это слово не просто спровоцировано предшествующим *друг*, но в силу общности [д] – [р] – [г]/[ж] удачно создает иллюзию родства корней: *Платон – друг, истина – дороже!* Красиво получилось!

Крупнейший ученый, один из основателей тартуско-московской семиотической школы Юрий Михайлович Лотман (1922–1992) говорил о том, что в художественном тексте «формальные элементы семантизируются». Поэтому глупо, с его точки зрения, просить ученика пересказать идейное содержание произведения отдельно от его художественных особенностей. «Пересказывая стихотворение обычной речью, мы разрушаем структуру и, следовательно, доносим до воспринимающего совсем не тот объем информации, который содержался в нем» (Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970).

В той же книге Лотман демонстрирует на конкретных примерах глубинную силу фонетических связей. Например, он приводит знаменитые слова из письма Онегина к Татьяне: «*Я утром должен быть уверен, Что с вами днем увижусь я*» – и комментирует: «звук

[у], конечно, сам по себе никакого значения не имеет. Но повторение его в ряде слов заставляет выделить его в сознании говорящего как некую самостоятельную единицу. [...] Это приводит к тому, что слова *утром, уверен, увижусь*, которые в непоэтическом тексте составляли бы самостоятельные и несопоставимые единицы, начинают восприниматься в семантическом взаимоналожении». Они оказываются в каком-то смысле синонимами!

Действительно, фонетические (и графические) связи в поэзии приравниваются к смысловым. Звукопись становится важнейшим инструментом стиха. Например, следующий отрывок из стихотворения Бориса Пастернака «Не спорить, а спать...» полностью основан на инструментовке согласными [с]/[з], [п]/[б], [р]/[р'], [х]:

Не спорить, а спать. Не оспаривать,
А спать. Не распахивать наспех
Окна, где в беспамятных заревах
Июль, разгораясь, как яспис,
Расплавливал стекла и спаривал
Тех самых пунцовых стрекоз,
Которые нынче на брачных
Брусах – мертвей и прозрачней
Осыпавшихся папирос.

Особое место в процессе порождения текста занимает **рифма**, т. е. подобное звучание концов строк. Конечно, это касается прежде всего поэзии (в которой строка как организационная единица текста теснит синтаксическую единицу – предложение), но и в спонтанной речи обычного человека случайно встречающаяся рифма обращает на себя внимание. Или же – в особом состоянии – говорящий просто отдает себя на волю случая, т. е. случайных созвучий. Так, в следующем примере персонаж чеховской пьесы «Шутка» оказывается в стрессовой ситуации, его застают враг-сплох.

«*Ремарка*: Стук в дверь и голос за сценой: «Депутация!»

Ш и п у ч и н. **Депутация... репутация... оккупация...**»

(и далее персонаж еще раз повторяет эти и другие, казалось бы, бессмысленные слова).

В повести Юрия Германа балагур Васька Окошкин прощается со своим старшим товарищем таким образом:

«– **Оревуар, резервуар, самовар!** – сказал Васька. – Привези папирос, Иван Михайлович».

Если *оревуар* еще как-то можно счесть прощанием, подходящим для данного контекста, то *резервуар* и *самовар* никак по

смыслу сюда не подходят: это очевидное проявление шутовства, языковой игры.

А второстепенный персонаж повести Федора Сологуба «Мелкий бес», купец Тишков, вообще на все высказывания собеседников реагирует репликами-созвучиями. Например: *Мне пора – Ему пора, ждет сестра; У меня дела – У кого дела, тому от нас хвала; Зря болтают на человека – Зря болтают, правды не знают; А что с мамзелью вяжется...– От мамзели клопы в постели* и т. п. Можно было бы здесь вспомнить упомянутую в прошлых лекциях классификацию патопсихологических типов, но лучше дам слово самому писателю:

«Тишкову было все равно, слушают его или нет; он не мог не схватывать чужих слов для рифмачества, и действовал с неуклонностью хитро придуманной машинки-докучалки. [...] Можно было подумать, что это не живой человек, что он уже умер или и не жил никогда, и ничего не видит в живом мире и не слышит ничего, кроме звенящих мертво слов».

Если говорить о созвучиях «в хорошем смысле», то они создают не просто эстетический эффект, они обладают, можно сказать, магической или мистической силой. Андрей Битов так писал в одном из своих эссе:

«Я, право, не знаю, что было бы с русской поэзией и отчего бы она была именно русской, кабы не приговоренная бедность рифм «кровь – любовь» и «человек – век». И что было бы со смыслом русской литературы и отчего бы она была именно русской, кабы не были созвучны «деревня – деревья – древний» и «крест – крестьянин – христианин». Здесь лежат первые и скорее впоследствии забытые, чем уточненные, связи языка и жизни» (А. Битов. Битва).

Лотман в своих работах доказывает, что рифма и прочие поэтические особенности были первичными средствами художественного текста вообще. Это влечет за собой парадоксальный вывод: проза как вид литературы вторична по отношению к поэзии! Она сложнее в том отношении, что представляет собой «минус-прием»: «Художественная проза возникла на фоне определенной поэтической системы как ее отрицание» («Структура художественного текста»).

Значимость рифмы для обыденной речи подтверждается огромным количеством именно таким образом организованных присловий, поговорок, дразнилок, считалок и т. п., особенно в детской речи, ср. русские *Почему? – По кочану* (совершенно бессмысленный ответ, если не считать рифменного созвучия); *Моряк – с печки*

бряк; Говорят, что кур доят; Доска – два соска (о худой девушке); Огуречик, огуречик, не ходи на тот кончик; Тили-тили-тесто, жених и невеста (так дразнят мальчика и девочку, если они дружат между собой); Вовка – морковка; Зинка – резинка; Дашка – промокашка; Филипп к доске прилип и т. п.

Писатель Леонид Пантелеев в своих записных книжках за 1945 год вспоминает, как в Москве продавщицы мороженого кричали:

«– А вот кому! Есть сочное, дальневосточное!..»

Бесмыслица? Заумь? А ведь звучит. И потому – годится, привлекает внимание. Совсем как у Маршака:

**Апельсинное,
Керосинное».**

Приоткрытая дверь

К ведению психолингвистики относится и такая сфера, как звуко-символизм или фоносемантика. Поэты издавна пытались приписать конкретным звукам (или буквам) то или иное значение. В середине XX века эти попытки получили экспериментальное обоснование. В Советском Союзе это исследования А. П. Журавлева, В. С. Воронина, В. В. Левицкого и других ученых. В частности, с данной целью была использована методика «измерения значения» Осгуда. Участникам эксперимента предлагалась шкала признаков типа «хороший – плохой», «большой – маленький», «нежный – грубый», «женственный – мужественный», «светлый – темный» и т. п. Испытуемые должны были оценить каждый звук, т. е. определить его место на каждой шкале. В результате получилось, например, что [а] – звук хороший, большой, мужественный, светлый, активный, простой, красивый, гладкий, легкий и т. д. А вот звук [ф] – плохой, грубый, темный, пассивный, слабый, отталкивающий, шероховатый, тяжелый, грустный и т. д.

Эти оценки объективны, так как получены на большом количестве испытуемых и подтверждены статистически. Но возникает естественный вопрос: а как они работают в нашем сознании? Для ответа достаточно обратить внимание на слова, выразительные в фонетическом отношении, например: *хмырь, хрыч, ханыга, ханурик, хлыщ, хлюст, хахаль, хайло, фуфло, туфта, фря, фифа, фурия, мымра, труперда, задрыга, прощелыга, прохиндей, оборот, охламон, брандахлыст, жлоб, лажа, шваль, шалава, шлюха, шаромыжник, чурка, чучело, чмо, чувырла* и т. п. В основном это всё названия лиц, но интересно то, что дать им точное семанти-

ческое определение довольно трудно. Это целая проблема для составителей словарей. Кто такой, например, *хмырь*? «Неприятный человек», трудно сказать точнее. То же самое – *жлоб* или *оборот...* По-видимому, содержание этих слов в значительной степени складывается благодаря участию согласных [ф], [х], [р], [ж], [ш], [ч]. Говоря научным языком, место денотативных сем занимают коннотативные семы фоносимволической природы.

Очень интересно в свете сказанного понаблюдать за тем, как человек воспринимает ненастоящие, искусственно созданные слова. Такие эксперименты тоже проводились. В частности, испытуемым предлагался список, состоящий из слов вроде *тирпак* или *кливна*, и выяснялось, насколько они «реальны», какие из них легче запоминаются и т. п. (опыты А. Е. Кибрика, Р. М. Фрумкиной и др.). Естественно, что эти искусственные создания ассоциировались в памяти испытуемых с какими-то реальными русскими словами.

Другие авторы пытались проверить реальность семантических ассоциаций, вызываемых отдельными звуками или их комплексами. Известны, например, опыты Ильи Наумовича Горелова, который предлагал обычному (филологически не подготовленному) читателю определить, какие названия подходили бы для вымышленных денотатов.



В частности, на рисунке представлены некие фантастические существа. Спрашивается, под буквой А: где тут *жаваруга*, а где – *мамлына*? А под буквой Б: где тут *плюк*, а где *лиар*? Ответы, кажется, напрашиваются сами собой, и задача может показаться шутливой, но лингвистический комментарий к ней может быть довольно серьезным.

Приведу еще наглядный литературный пример. Герой песни Юлия Кима «Однажды в чудный вечер» пытается познакомить-

ся с девушкой. И далее процитирую, с помощью каких речевых средств молодой человек заигрывает с «объектом»:

Утики путики сяся
Ерики чморики фу.
Вар вар вар вара Калуга
И не сказал ничего.
Значит, еще подождем.

Утики путики сяся – это «любовное сюсюканье», воркование. Бесплезно пытаться расшифровать его лексически: это имитация заигрывания, напоминающая тот «язык», которым мать разговаривает с маленьким ребенком. Следующая строка *Ерики чморики фу* фонетически отличается от первой: в ней появляются оттенки возражения, спора, противодействия. Наконец, строка *Вар вар вар вара Калуга* указывает на безрезультатность предпринятых речевых усилий или даже конфликт, несмотря на появляющееся здесь «нормальное» слово *Калуга* (а быть может, его неожиданность только усиливает контрастивный эффект!). Опираясь на фонетические ассоциации, носитель языка безошибочно «прочитывает» ряд несуществующих (искусственных) слов.

Бывает, что писатель вводит в текст своего произведения искусственное слово в расчете на специальный эстетический эффект (это прием остранения, по Шкловскому). Но, кроме ощущения чуждости воссоздаваемого мира, читатель должен каким-то образом эту лексему «семантизировать». Вот в пьесе Людмилы Петрушевской разговаривают две подруги.

«Ю л я. ...В Андстреме сидишь, привязываются, подсаживают со своими креслами, предлагают **пулы, метвицы**.

А у. **Пулы** такие вязаные.

Ю л я. Нет, **пулы, метвицы, габрио**. Вроде всё так невинно, а если с ними начать иметь дело, пропадешь. Нас предупреждают: никаких **пулов!** Осторожней, особенно с **метвицами**».

Пулы, метвицы, габрио... А еще в той же пьесе в русской речи персонажей встречаются такие условные «знаки чуждости», как *мальро, чурчхела, кишкильды, хурды-мурды* и т. п. *Пулы* – может быть, это пуловеры? *Метвицы* – что-нибудь вроде ластовиц или пуговиц? Читатель или зритель вынужден опираться на собственные фонетические ассоциации, но неважно, с какой степенью определенности (точности) он это сделает.

Конечно, фонетическая «аура» слова редко самостоятельно решает семантические вопросы, но она по-своему участвует в определении значения. Александр Павлович Журавлев замечал

в своей научно-популярной книге «Звук и смысл» (М., 1981), что фашизм, оформившийся как политическое движение в Италии и Германии первой половины XX века, получил у разных народов разное название: *национал-социализм, нацизм*; французы называли нацистов *боши*... Но для русского языка обозначение *фашизм* оказалось наиболее удачным: негативное отношение к явлению как бы подтверждалось здесь, благодаря участию звуков [ф] и [ш], «отвратительным звучанием».

Еще одна любопытная сфера – выбор личного имени человека. Может быть, именно по фоносемантическим причинам выходят из употребления такие русские имена, как *Федот, Феофан, Фёкла, Марфа, Глафира* и т. п. В то же время среди наиболее популярных – *Александр, Андрей, Максим, Мария, Дарья*...

Наконец, надо сказать о том, что фонетические корреспонденции лежат в основе **народной этимологии**. Человеку свойственно налаживать дополнительные связи между словами, в том случае и там, где таких связей никогда не было. Потому такое этимологизирование называется еще ложным или народным. Хорошо известны примеры вроде *художник от слова худо; жрец – человек, который много жрет; экстаз – таз, бывший в употреблении; свинец – самец свиньи* и т. п. Как тут не вспомнить слова Гумбольдта: «Вполне естественно обозначать родственные понятия с помощью родственных звуков!»

Разумеется, принципы народной этимологии могут использоваться сознательно, в расчете на дополнительный эстетический (в том числе юмористический) эффект, ср.:

Т а т ь я н а. Правда, познакомь! А то у меня Валера вон давно от водки чуть не **атрофировался**. А на что мне его **трофеи**? (Л. Петрушевская. Три девушки в голубом).

«...24 августа я покинул СССР, положив конец как общей головной боли проживания на его территории, так и изматывавшим меня реальным **мигрням** (Не отсюда ли слово «**эмиграция**»?)» (А. Жолковский. Through a glass, darkly).

Одиночество. Корень *ночь*.
Но извлечь одиночество с корнем
Мне никто не сможет помочь...

*В. Павлова. Одиночество.
Корень ночь...*

Совершенно естественна народная этимология в детской речи – ибо ребенку приходится ежедневно осваивать массу новых слов, и ему нужно их как-то «привязать» к старым, уже известным ему.

Так возникают в речи русскоязычных детей названия *колоток* вместо *молоток*, *копатка* вместо *лопатка*, *улицционер* вместо *милиционер*, *пескаватор* вместо *экскаватор* и т. п. (большое количество подобных примеров приводится в книге Корнея Чуковского «От двух до пяти»).

Еще одна сфера, в которой продолжают и развиваются традиции народной этимологии, – это жаргоны. Здесь появляется множество приблизительных номинаций, основанных на формальном сходстве. Таковы жаргонизмы *лимон* ‘миллион’, *шпора* ‘шпаргалка’, *шампунь* ‘шампанское’, *фанера* ‘фонограмма’, *кулёк* ‘институт культуры’, *мерин* ‘мерседес’ и т. п. Включились в эту игру и пользователи компьютеров: в компьютерном жаргоне вместо *плоттер* некоторые молодые люди говорят *полотер*, вместо *Пентиум* – *пентюх*, вместо *процессор* – *профессор*, вместо *клавиатура* – *клава*, вместо *лазерный (принтер)* – *лазарь* и т. п.

Таким образом, звуковые (и буквенные) связи помогают нашему сознанию систематизировать огромное количество слов, хранящихся в памяти. Они, как мы еще увидим в дальнейшем, многообразно взаимодействуют с семантическими связями.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛОВАРЯ В СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЯ ЯЗЫКА. АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Исследуя устройство словаря в голове человека, ученый имеет дело со своего рода черным ящиком, о котором известно только, что у него «на входе» и что – «на выходе». Конечно, характеристики коммуникативных ситуаций и свойства результирующих их текстов – очень показательный материал. И все же сама работа мозга остается скрыта от непосредственного наблюдения.

На помощь ученым приходят специальные эксперименты. Ассоциативный эксперимент, о котором упоминалось на предыдущих лекциях, – не единственный, но самый популярный способ исследования связей между словами в языковом сознании. Он пришел в лингвистику из психологии и судебной экспертизы. Первоначально он применялся для исследования психических больных. Первым собранием ассоциативных норм был словарь американских психологов Грейс Хелен Кент и Аарона Розанова (Kent G. H., Rosanoff A. J. A study of association in insanity // American Journal of Insanity. 1910. № 67). Ими же был предложен стандартный список из 100 слов-стимулов, которые затем с небольшими изменениями использовались другими исследователями.

Сегодня существуют ассоциативные словари основных западноевропейских языков, а кроме того, имеются аналогичные издания по русскому, польскому, словацкому, украинскому, белорусскому, латышскому, киргизскому и многим другим языкам.

Методика ассоциативного эксперимента проста. Испытуемому предъявляют список слов-стимулов, на каждый из которых он должен ответить первым приходящим ему в голову словом-реакцией. (Это так называемый свободный ассоциативный эксперимент, а бывает еще направленный, когда реакции испытуемых ограничиваются каким-то условием.) Например, человеку говорят: *стол*, а он отвечает: *стул*. А другой испытуемый на тот же стимул ответит *стоит*, третий скажет: *круглый*, а четвертый – *накрыт*, или *еда*,

или *на столе пусто* (допускаются и словосочетания) – как кому взбредет в голову. Совокупность реакций одного человека позволяет судить о том, как он относится к эксперименту (ответственно или не очень), каков объем его знаний, что сейчас занимает его мысли, каково его настроение и т. д.

В научно-популярной литературе часто приводят в качестве иллюстрации рассказ чешского писателя Карела Чапека «Эксперимент профессора Роуса». Там профессор-психоаналитик с помощью своего метода помогает полиции раскрыть совершенное преступление. Сначала он предлагает подозреваемому невинные речевые стимулы, и тот отвечает естественными реакциями. В частности, на слово *Стакан* следует ответ *Пиво*, на *Улица* – *Телеги*, на *Мамаша* – *Тетка*, на *Собака* – *Конура*, на *Солдат* – *Артиллерист* и т. д. Затем темп убыстряется, и профессор переходит к самому главному. Он предлагает: *Дорога*, в ответ: *Шоссе*, *Спрятать* – *Зарыть*, *Тряпка* – *Мешок*, *Лопата* – *Сад*, *Яма* – *Забор*, *Труп...* «Труп! – настойчиво повторил профессор. – Вы зарыли его под забором. Так?». Полицейским оставалось только подтвердить эту догадку.

Конечно, реакция отдельного человека в конкретном случае индивидуальна. Но когда набирается большое количество реакций на один и тот же стимул (а обычно эксперимент проводится с 500 испытуемыми или с еще большим их числом), то вырисовывается некая общая картина. Выделяется группа типичных, стандартных реакций (например, *стол* – *стул*, *стол* – *круглый*, *стол* – *стоит*, *стол* – *в комнате* и т. п.). Затем эти реакции упорядочиваются по частоте и таким образом составляют статью ассоциативного словаря. Приведу в качестве примера одну статью русского ассоциативного словаря (после реакции указано количество ответов; конец статьи дается фрагментарно, выборочно; купюры отмечены квадратными скобками):

Лес (всего 758 испытуемых) – густой 119, зеленый 72, дремучий 46, деревья 34, темный 33, русский 29, дрова 24, поляна 20, дерево, рубят 15, большой 14, береза, зелень 12, поле 11, бор, сосновый 10, природа, роща 8, елка 7, березовый, грибы, река, рук, хвойный, ягода 6, весенний 5, воздух, голубой, ель, еловый, огромный, опушка, прохлада, шумит 4, деревня, дол, дорога, красивый, листья, молодой, прогулка, сад, солнце, сосны, стоит, чаща, чудесный, шумел, щепки 3, березовая роща, «Берегите лес», болото, бурый, весна, вырублен, [...] килограмм, [...] лесник, [...] люблю, [...] рубят – щепки летят, «Русский лес», [...] трава,

[...] ходить [...] 2, близко, вдали, [...] друзья, дуб, дубрава, ели, елки, елки-палки, [...] жизнь, [...] куда-то залез, [...] лед, [...] лесоразработки, летний, лето, лесной, луг, луч, [...] наше богатство, нечто зеленое и шумящее, [...] поляна и цветы, [...] поцелуи, [...] уголь, «У лукоморья дуб зеленый», [...] утренний, хороший воздух, Шишкин, шишкинский, шумный 1 («Словарь ассоциативных норм русского языка» / под ред. А. А. Леонтьева. М., 1977).

Сразу отмечу, что наиболее частотные реакции (вроде *лес – густой, лес – зеленый*) оказываются очень стабильными в пространстве и во времени. Это значит – они отражают прочные и глубокие связи в сознании народа. Именно потому словари такого типа и называются «ассоциативными нормами». Разумеется, по этим нормам можно судить о культурных ценностях данного народа, о его менталитете и стереотипах. Опытные лекторы часто пользуются такими знаниями, чтобы поднять свой авторитет в непросвещенной аудитории. Например, преподаватель говорит: «Я знаю всё, о чем вы думаете, я читаю ваши мысли. Не верите? Давайте проверим. Я вам сейчас назову некоторые слова, а вы в ответ напишите на листике первые приходящие вам в голову другие слова. Готовы? *Поэт, фрукт, домашняя птица*. А теперь я вам скажу, что вы у себя написали. *Пушкин, яблоко, курица*. Верно?» Аудитория (особенно если это школьники младших классов) поражена. А преподаватель просто назвал известные ему самые частые (т. е. стандартные) реакции.

Если мы проанализируем ассоциативный словарь какого-то языка, то можем сделать и некоторые выводы универсального характера. В частности, ученые давно заметили, что основную массу реакций можно разбить на две группы: **парадигматические** и **синтагматические**. Эти термины (и соответствующие понятия) восходят к учению Фердинанда де Соссюра. По Соссюру, все единицы языка находятся друг с другом в двух видах отношений: парадигматических (это «вертикальные» отношения ассоциирования, замещения, дублирования) и синтагматических (это «горизонтальные» отношения сочетаемости, последовательности, партнерства). *Стол – стул* или *стол – мебель* – это типичные парадигматические ассоциации. *Стол – круглый* или *стол – в комнате* – синтагматические реакции.

Данные виды связей психологически (правильнее было бы сказать – психически) реальны. При этом, как доказывал нейролингвист Лурия, «синтагматические группы (типа *дом горит, собака лает*) возникают гораздо раньше и строятся с гораздо

большой легкостью, чем «ассоциативно» организованные парадигматические связи – вхождение в общую категорию (типа *солнце – луна*), подчинение (*собака – животное*) и т. д.» (Лурия А. Р. Основные проблемы нейролингвистики). Однако оказывается, что в ситуации ассоциативного эксперимента небезразлично, в какой грамматической форме будет стоять слово-стимул, и не случайно то, в какой форме появится слово-реакция. В частности, имена существительные чаще вызывают парадигматическую реакцию. А стимулы-глаголы, наоборот, парадигматические реакции дают сравнительно редко, зато более чем в половине случаев дают синтагматические реакции, типа *ходить – быстро* или *ходить – по комнате*. Добавлю интересную подробность: с возрастом испытуемых доля парадигматических реакций несколько возрастает; о причинах этого стоит задуматься.

Деление ответов на «парадигматические» и «синтагматические», конечно, довольно грубо и приблизительно. Поэтому психолингвисты разрабатывают более подробные классификации ассоциаций. Например:

✓ *Клименко А. П.* Лексическая системность и ее психолингвистическое изучение. Минск, 1974;

✓ *Ульянов Ю. Е.* Психолингвистика (с приложением латышского и русского ассоциативных словарей). Рига, 1999 и др.

В частности, реакции, зафиксированные в «Словаре ассоциативных норм русского языка» на стимул *лес* (см. выше), можно распределить по группам примерно таким образом:

а) тематические: *деревья, листья, дрова, ягода, прохлада, гриб...* Слово-стимул и слово-реакция относятся здесь к одной предметной сфере, к одной теме. В принципе это парадигматические реакции (хотя не исключается и возможность трактовки типа *В лесу – деревья*, и тогда реакцию следовало бы считать синтагматической);

б) чисто парадигматические: синонимо-антонимические, гиперонимо-гипонимические и т. п.: *роща, бор, дол, чаща, дубрава, растения, тайга...* Они близки предыдущему типу, но считается, что парадигматические ассоциации в идеальном случае отличаются от слова-стимула только по одному семантическому признаку (семе). Внутри этой группы, конечно, можно различать подгруппы: реакции синонимические, антонимические (контрастивные), гиперонимические и т. п.;

в) словообразовательные: *лесник, лесной, лесоразработки, лесший...* У таких ассоциаций чаще всего общая со словом-стимулом корневая морфема, в данном случае – *лес*;

г) сочетаемостные (комбинаторные): *густой, зеленый, русский, рубят, вырублен, шумит, люблю, близко, вдали, рук* (последний пример, метафорическое выражение *лес рук*, типичен для школьной практики). Эти ассоциации, синтагматические по своей сути, наиболее открыто отражают стремление говорящего к созданию некоторого минимума текста. Иногда, как уже отмечалось, их трудно отграничить от тематических. Скажем, пара *лес – дорога* может отражать тему «Природа», как она представлена в голове человека, а может соответствовать синтаксическим конструкциям *лес вдоль дороги* или *дорога через лес* и т. п.;

д) цитатные: «*Русский лес*», «*Берегите лес*», *наше богатство...* Это отсылки к готовому тексту. Нередко такие ассоциации носят скрытый характер. Например, ответ *венский* – это, вполне возможно, отзвук названия вальса Штрауса «Сказки венского леса». А ответ «*У лукоморья дуб зеленый*», скорее всего, возникает через посредство лексемы *дуб* (см. об этом ниже);

е) формальные (фонетические или буквенные): *лёд, куда-то залез...* Формальные ассоциации вообще редки (как мы уже знаем), но нельзя утверждать, что они аномальны. И в других статьях словаря мы находим ассоциации типа *гость – кость* (или *гость – гвоздь*), *мальчик – с пальчик* (это одновременно и фонетическая, и цитатная ассоциация), *слава – слабый* и т. п.;

ж) индивидуальные и трудно объяснимые: в частности, на стимул *лес* – реакции *друзья, килограмм, луч, поцелуи, уголь...* Они низкочастотны, но весьма многообразны. Единичные ассоциации, конечно, требуют специального комментария. Они открывают простор для фантазии исследователя и в этом смысле довольно увлекательны. Впрочем, может быть, дело тут не в особенностях индивидуальной психики, а в более сложных, скрытых механизмах ассоциирования? Это стоит пояснить.

Во-первых, связи слов в нашем сознании не ограничиваются парами, а складываются в многочленные цепочки. Это мы уже могли наблюдать на примере *лес – [дуб] – «У лукоморья дуб зеленый»* (в квадратных скобках здесь дано восстанавливаемое в уме звено цепочки). Аналогичная цепочка формируется в ассоциации *лес – [деревья] – дрова* и во многих других случаях.

Во-вторых, актуализация связей между словами может происходить одновременно по нескольким направлениям. И тогда основания для ассоциирования «совмещаются». Скажем, реакция *щепки* в ответ на *лес* появляется как результат или тематического ассо-

цирования: *лес* – [рубить] – [дрова] – *щепки* или же цитатного, как отголосок поговорки *Лес рубят – щепки летят...* Вспомним в связи с этим то, что говорилось в прошлых лекциях о поиске нужного слова.

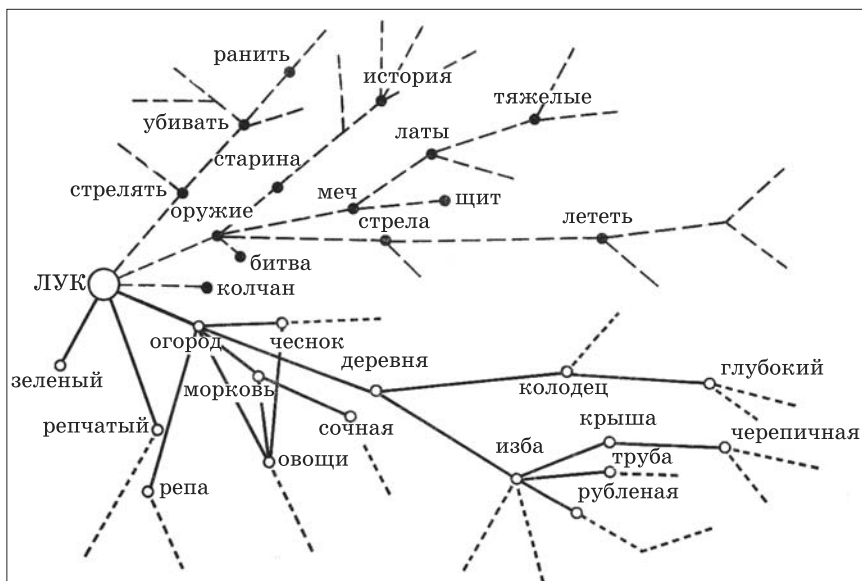
Рассмотрим здесь и свежий пример. Герой одного рассказа ищет название для некоего гастрономического чуда – он подыскивает его в сфере смысла, но какие-то фонетические ориентиры при этом в его сознании присутствуют:

«...Крабы, бобы, грейпфруты, но не просто грейпфруты, а гораздо лучше и... штучки мясные... я даже не знаю, как назвать эти шипящие на решетке... **не кебабы, кебабы я знаю...** эти шипящие с луком на раскаленном железе... **куинджи...** **не куинджи**, Куинджи – это художник... не знаю, не знаю, как это назвать, но я это ел!» (С. Юрский. Сеюки).

Приведу в качестве иллюстрации целый фрагмент «ассоциативно-вербальной сети». В данном случае это многообразные реакции, которые рождает в нашем сознании слово *лук* (по книге: Ушакова Т. Н. [и др.]. Речь человека в общении. М., 1989) (схема 4).

Схема 4

Образец ассоциативно-вербальной сети



Вся сложность лексического ассоциирования заключается именно в том, что разные виды словесных связей могут переплетаться и сочетаться между собой. Это открыли в 40-е годы XX века американские психологи Кофер и Фоли (Ch. N. Cofer & J. P. Foley). Они установили в своих экспериментах, что каждое слово в один и тот же момент образует целую сеть ассоциаций, причем в качестве звеньев этой цепи могут выступать как смысловые, так и формальные «партнеры». В частности, с ближайшим своим соседом по лексической системе слово может быть связано смысловым «тяготением», но от того тянется ниточка формальной ассоциации к третьему слову, от того – формальной или семантической к четвертому и т. д.

Попробуем взглянуть с этих позиций на те реакции, которые мы отнесли к труднообъяснимым (в частности, на стимул *лес* – ответы *луч, килограмм, друзья* и т. п.). Возможно, они требуют более сложного, «цепочечного» или «сетевого», объяснения? Например, нетрудно предположить, что стимул *лес* вызывает в сознании испытуемого комбинаторную реакцию *темный* (это действительно одна из самых частых реакций), та, в свою очередь, тянет за собой ассоциацию *царство* (есть такое устойчивое выражение – *темное царство*), а отсюда один шаг до цитатной ассоциации *Луч света в темном царстве*: это название статьи русского критика Николая Добролюбова известно всем носителям русского языка по школьной программе... Значит, *лес* – [темный] – [«Луч света в темном царстве»] – *луч*. Точно так же появление на стимул *лес* реакции *килограмм* можно попробовать объяснить через цепочку *лес* – [вес] (фонетическая связь) – *килограмм* (семантическая связь). А полученная в эксперименте пара *лес* – *уголь* легко объясняется через восстановление промежуточных звеньев [дерево] и [дрова]...

Такое объяснение находит себе подтверждение при анализе других статей Ассоциативного словаря. И там мы находим примеры единичных (уникальных) ассоциаций типа *слава* – *здоровье*; *гость* – *железо*; *стол* – *телеграф*; *место* – *еда*; *форма* – *оборудование* и т. п. Иначе как странными, индивидуальными их не назовешь. Но объяснить их можно, если попытаться найти в каждом случае промежуточное звено, восстановить ту цепочку, которая реально присутствовала в голове у участника эксперимента, например:

слава – [слабый] – *здоровье*;
гость – [гвоздь] – *железо*;
стол – [столб] – *телеграф*;
место – [тесто] – *еда*;
форма – [обмундирование] – *оборудование*.

Приведу и реальный пример взаимодействия разных видов связей в процессе речепорождения. Русская пословица *Один в поле не воин* при ближайшем рассмотрении кажется немного странной. Почему это «в поле»? А что, в горах один – воин? Ученые объясняют происхождение данного выражения таким образом. Первоначально оно имело вид *Один в поле не ратай* (т. е. ‘пахарь’) – и тут всё на своем месте: одному в поле пахать трудно. Затем устаревающее слово *ратай* по созвучию (фонетическая связь) заменилось на *ратник*, т. е. ‘воин’. А уже *ратник* на основе синонимической связи вытеснилось современным названием *воин*.

Я уже говорил о том, что ассоциативные словари отражают культурные и ментальные стереотипы данного социума. В соответствии с этим особый интерес представляет сопоставление ассоциативных норм разных языков. Вот тут-то и оказывается важным, чтобы исходный список стимулов был более или менее единым (за основу обычно принимается список Кент – Розанова). На сегодняшний день существует целый ряд сопоставительных ассоциативных словарей, назову только некоторые из них.

- ✓ *Санчес Пуиг М., Караулов Ю. Н., Черкасова Г. А.* Ассоциативные нормы испанского и русского языков. М.; Мадрид, 2001;
- ✓ *Уфимцева Н. В.* и др. Славянский ассоциативный словарь. Русский, белорусский, болгарский, украинский. М., 2004;
- ✓ *Уфимцева Н. В.* и др. Ассоциативные нормы русского и немецкого языков. М.; Воронеж, 2004.

Обратимся к представленным в них фактам. В частности, при сравнении реакций, которые дают русские и немецкие испытуемые, обнаруживаются некоторые существенные различия. Прежде всего, обращает на себя внимание то, что в немецких ответах, как правило, самые частые реакции – это парадигматические, а точнее – антонимические (контрастивные), в то время как у русскоязычных испытуемых на первом месте нередко стоят синтагматические, «комбинаторные» реакции. Приведу для некоторых сопоставляемых слов-стимулов первые три реакции по частоте.

Русские реакции:

утро – *раннее* 97, *туманное* 72, *вечер* 46...;

брат – *сестра* 104, *родной* 67, *мой* 50...;

лицо – *красивое* 56, *круглое* 18, *человека* 18...;

белый – *снег* 128, *черный* 49, *цвет* 27...;

маленький – *ребенок* 62, *большой* 55, *мальчик* 55...

Немецкие реакции (русские переводы добавлены здесь мною; в самом эксперименте их, конечно, не было):

- ✓ *Morgen* 'утро' – *Abend* 'вечер' 90, *aufstehen* 'вставать' 73, *Sonnenaufgang* 'восход солнца' 68...;
- ✓ *Bruder* 'брат' – *Schwester* 'сестра' 170, *Geschwister* 'братья и сестры' 26, *Familie* 'семья' 24...;
- ✓ *Gesicht* 'лицо' – *Augen* 'глаза' 59, *Nase* 'нос' 51, *schön* 'красивый' 37...;
- ✓ *Weiß* 'белый' – *schwarz* 'черный' 190, *hell* 'светлый' 43, *Schnee* 'снег' 41...;
- ✓ *Klein* 'маленький' – *groß* 'большой' 205, *winzig* 'крошечный' 47, *Zwerg* 'карлик' 41...

К этим различиям мы еще вернемся, а пока обратим внимание на вторую особенность: для немецких ответов часто характерна большая стандартность, а точнее количественный отрыв первой, самой частой реакции от следующих. В русском языке такие «монопольные» реакции также встречаются, но несколько реже.

Любопытно, что аналогичные различия обнаруживаются при сравнении русских и английских, русских и испанских ассоциативных норм. Ю. Н. Караулов, сравнивавший русские и испанские реакции, обнаружил также, что в испанских ответах, по сравнению с русскими, велика доля «чувственных», эмоциональных ассоциаций, но зато, по сравнению с русскими ответами, беднее зона «интеллектуальных» реакций. Испанцы также реже давали цитатные (прецедентные, клишированные) реакции (честь и хвала нашей школьной программе!).

Культурный опыт народа находит свое отражение в отдельных специфических реакциях. Скажем, для русскоязычных испытуемых на стимул *гость* довольно частая реакция *татарин* (а в немецких ассоциациях ничего подобного нет). Это, конечно, следствие известной русской поговорки *Незванный гость хуже татарина*, которая, в свою очередь, отражает исторический опыт русских, память о татаро-монгольском нашествии.

Интересно также сравнить результаты, полученные на эквивалентные слова-стимулы от русских и белорусских респондентов. Белорусский и русский народы очень близки в культурном, историческом, языковом отношении. Однако некоторые различия обнаруживаются и здесь.

Так, по данным словарей, на стимул *свободный* русские испытуемые чаще всего отвечают *человек* (141), далее с большим отрывом идут ответы *ветер* (44), *полет* (26) и т. д. У белорусских

испытываемых самая частая реакция на эквивалентный стимул *вольны – вецер* (167), а далее, опять-таки с отрывом, следуют *чалавек* (96), *час* (63) и т. д.

По данным А. А. Папейко, на стимул *зеленый* русские респонденты давали ответы *лист* (54) и *светофор* (28), а белорусские на стимул *зялёны* – ответы *ліст* (92) и *святлафор* (7). Кажалось бы, реакции – те же самые, но количественные различия говорят сами за себя.

На стимул *лететь* в ответах русскоязычных информантов удельный вес реакции *самолет* в сравнении с удельным весом реакции *птица* больше примерно на 6,5 %. А у белорусов на эквивалентный стимул *ляцець*, наоборот, ассоциация *самалёт* встречалась примерно на 7 % реже, чем ассоциация *птушка* ‘птица’.

Означает ли это склонность носителей русского языка к «технократическим» или «индустриальным» ассоциациям, а белорусского – к «природным»? Простой ответ на этот вопрос может быть ошибочным. Я думаю, что дело здесь не в различиях в менталитете родственных народов, не в разном «типе цивилизации», к которому они принадлежат, а в той культурной среде, в которой испытуемые выросли. И прежде всего – в их **текстовых знаниях**: белорусская литература в целом значительно ближе к природным ценностям, она сформировалась на «мужицких» или крестьянских традициях. Разумеется, каждый язык диктует (т. е. закрепляет, хранит в виде текстов и предлагает своим носителям) определенные когнитивные и этические нормы.

Вернемся теперь к уже отмеченной нами особенности: самые частые, типичные ассоциации для носителей немецкого языка выбираются «по контрасту» (*Morgen – Abend, weiß – schwarz*), самые частые русские – «по смежности», по сочетаемости (*утро – раннее, белый – снег*). И эти различия не случайны. Анализ англоязычных ассоциаций дает примерно те же результаты, что и немецкий язык: и там парадигматика на первом месте! Зато ассоциативные словари польского или белорусского языка примерно соответствуют тому состоянию, которое мы наблюдаем в русском языке: здесь ассоциирование направлено в первую очередь на образование речевых единиц, словосочетаний!

Значит ли это, что мышление германских народов «парадигматично» и направлено на создание классификации, а мышление славянских – «синтагматично» и направлено на создание текста? Нет, так ни в коем случае сказать нельзя. Дело в другом.

Во-первых, славянские языки обладают более развитой морфологией. И грамматический показатель, которым наделено слово-стимул, сильно влияет на выбор реакции. Это можно показать и не выходя за пределы славянских языков. Например, на стимул *родной* у русских испытуемых самые частые реакции – *язык* (195), *дом* (79), *человек* (67). На стимул *родны* у белорусских испытуемых самый частый ответ – *кут* ‘угол’ (208; это цитатная ассоциация, отсылка к стихотворению Янки Купалы: *Мой родны кут, як ты мне мілы...*), потом идут *дом* (87), *край* (64)... Только в 8 случаях в «белорусском» варианте был получен ответ *мова* ‘язык’. Почему так мало? Да потому, что по-белорусски это слово женского рода, а стимул-то был задан в мужском роде: *родны!* В немецком, а тем более в английском языке морфология слова не такая богатая и «наглядная». Здесь существительные, прилагательные, наречия (а в английском еще и глаголы!) часто не различаются своими окончаниями – и, может быть, потому носитель языка склоняется к парадигматическим ответам.

Есть и вторая причина, на которую я уже намекнул. Для русских, белорусов, поляков огромную роль играют заученные с детства готовые тексты – литературные, фольклорные, рекламные, а для поляков – религиозные. Очевидно, определенную роль в этом играет школьная программа. Самый частый ответ на стимул *тихий* у русскоязычного человека – *Дон* («Тихий Дон» – название романа Михаила Шолохова). На стимул *мальчик* самый частый ответ – *с пальчик* (есть сказка «*Мальчик с пальчик*», кстати, перевод немецкой сказки). На стимул *лес* часто отвечают *русский* («Русский лес» – название романа Леонида Леонова).

Но ассоциативный эксперимент – более тонкий инструмент, чем это можно себе представить по предыдущему рассказу. Польская исследовательница Ида Курч (*Ida Kurcz*) **видоизменяла формулировку задания**. После того, как она проводила ассоциативный эксперимент с традиционной формулировкой, она через некоторое время повторяла его в той же группе испытуемых. Но просьба на сей раз была такая: «Как вы считаете, каким словом на данный стимул ответит большинство испытуемых?» И результат был поразительным: испытуемые давали другую реакцию!

Так, на стимул *biały* ‘белый’ в «традиционном» эксперименте испытуемые чаще всего отвечали словом *śnieg* ‘снег’, а во втором случае, с модифицированным заданием, – словом *czarny* ‘черный’. На стимул *dziewczyna* ‘девушка’ самый частый ответ в первом эксперименте был *ładna* ‘красивая’, а во втором – *chłopiec* ‘маль-

чик'. На стимул *kwaśny* 'кислый' ответы были соответственно *owoc* 'фрукт' и *słodki* 'сладкий'...

Это значит, с одной стороны, что испытуемые не вполне доверяют сами себе, считая свою естественную реакцию слишком индивидуальной, не отвечающей некоему стандарту. С другой стороны, участники эксперимента пытались во втором случае смоделировать структуру «массового сознания». И на этом пути они выбирали преимущественно парадигматические реакции!

Очень интересные результаты можно получить, если попытаться в качестве стимулов задавать уже полученные реакции. Насколько можно по реакции (или по их совокупности) восстановить стимул? Предлагаю проверить себя. Вернемся к статье *Лес* из «Словаря ассоциативных норм русского языка» и спросим себя: легко ли мы по данному списку реакций восстанавливаем заглавное слово, послужившее в эксперименте стимулом? А в других случаях «обратное» ассоциирование может быть еще более затруднено.

Психолингвистические опыты, проводимые в направлении «от реакции к стимулу», тоже не всегда дают то, что бы мы от них ожидали. Понятно: если мы на стимул *белый* получили реакцию *черный*, то наверняка вернемся от нее к исходному слову. Но если мы на стимул *свободный* получили реакцию *человек* и теперь используем ее как стимул, т. е. просим испытуемых ответить на нее новой реакцией, то нет никакой уверенности, что мы вернемся к исходному стимулу... Иначе говоря, в каких-то случаях мы получаем «замкнутый круг» между словом-стимулом и словом-реакцией, а в каких-то имеем развитие лексических связей вплоть до образования той вербальной сети (или словесной «паутины»), которая реально присутствует в сознании человека.

И все же не забудем, что условия ассоциативного эксперимента в той или иной мере искусственны. Не надо смешивать их с естественной ситуацией порождения или восприятия речи. Поэтому и реакции испытуемых дают нам только относительное представление о реальных связях, существующих между словами в сознании носителя языка. Разработаны, кроме ассоциативного эксперимента, и другие способы психолингвистического изучения системности связей между словами.

**СОЧЕТАЕМОСТЬ СЛОВ
ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ.
ЧЕЛОВЕК – «ТЕКСТОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЕ
УСТРОЙСТВО»?**

Я начну эту лекцию с одного случая, имевшего место в России не так давно. В сентябре 2007 года в российской глубинке случилось несчастье: перевернулся автобус с детьми. Дети возвращались с сельскохозяйственных работ, они помогали крестьянам убирать урожай. Автобус был переполнен, сидячих мест всем не хватило. Кто-то даже стоял на подножке. И на повороте автобус опрокинулся. Об этом была довольно подробная информация по Центральному телевидению. Завели уголовное дело, поднялся большой шум. Но через несколько дней в репортаже одного журналиста прозвучало: *Дети висели на подножке* (вместо *стояли на подножке*)! А это принципиально меняло дело: висеть на подножке можно только если дверь не закрыта, и это уже грубое нарушение водителем правил дорожного движения! Значит, шофер безусловно виноват! Откуда же появилась такая информация (не соответствовавшая истине)? Причина крылась не только в недобросовестном журналисте, но и, частично, в языке. Дело в том, что в русском языке существует устойчивое выражение *висеть на подножке*. И как только во внутренней речи появилось слово *висеть*, оно автоматически «вытянуло за собой» его партнера *висеть*. Так реальное *Дети стояли на подножке* превратилось в виртуальное, языковое *Дети висели на подножке*.

Этот пример говорит о том, что наше сознание в процессе порождения речи имеет дело не только со словами, но и с сочетаниями слов.

Причем, возможно, эти единицы появляются уже на этапе внутренней речи.

Каждое слово имеет своих привычных партнеров, соседей по синтагматической цепи. С точки зрения психологии это **динамические стереотипы** – заложенные в памяти цепочки действий: появление во внутренней речи одного слова провоцирует появление его лексического партнера. Самое яркое проявление таких стереотипов – фразеологи-

ческие сочетания слов, вроде русских *ахиллесова пята* ‘уязвимое место’, *наломать дров* ‘наделать глупостей в состоянии аффекта’, *одна нога здесь, другая там* ‘очень быстро (сбежать, сходить)’, *намылить шею* ‘наказать, побить’ и т. п. Некоторые слова со 100 %-ной вероятностью предсказывают своего ближайшего партнера: *баклуши – бить*, *лясы – точить*, *ничтоже – сумняшеся*, *вдрабадан – пьяный* и т. п.

Стоит напомнить некоторые общие положения, которые уже приводились на предшествующих лекциях. В ходе порождения текста выбор каждого (очередного) речевого элемента в значительной степени зависит от того, какие элементы уже были выбраны. Это более всего отвечает стохастической модели порождения речи (в математике ей соответствуют марковские модели высших порядков, а в психологии, как уже говорилось, ассоцианистская теория). Скажем, каждый пятый элемент в речи имеет вероятность появления, полностью обусловленную предыдущими четырьмя элементами.

Но в целом эта модель плохо соответствует речевой реальности, она слишком механистично трактует язык. Если принять, что каждая лексема тянет за собой следующую лексему и таким образом мы можем получить сколь угодно длинную цепочку слов, то это вовсе не гарантирует нам создания осмысленного и правильного высказывания. Можно в экспериментальных целях построить искусственную фразу, в которой каждое слово будет хорошо сочетаться со следующим, но общий смысл будет отсутствовать. Приведу в качестве иллюстрации стихотворение из книги современного российского поэта, постмодерниста Владимира Строчкова «Глаголы несовершенного времени». Здесь каждое слово или словосочетание, действительно, согласуется по смыслу со следующим, можно сказать, предсказывает его со значительной долей вероятности; то, в свою очередь, предопределяет появление очередного слова и т. д. Но в процессе формирования этой цепочки замысел неоднократно видоизменяется, потому что каждое слово многозначно (или внутренне омонимично)! На каждом шаге порождения смысл «уходит» в другую сторону, и в результате мы получаем бред, бессмысленный текст:

Лечу стрелой насквозь большую жизнь
чей незабвенный образ я веду
за ручку до которой сам дошел
своим умом когда с него сходил
на землю где сегодня прохожу
по делу о хищениях по складу
души своей где был я проведен
кладовщиком как ясельный младенец...

На самом деле в сознании говорящего с самого начала присутствует замысел, некий общий план, зародыш будущего сообщения, и в соответствии с этим планом и происходит развертывание высказывания. А комбинаторика слов, их сочетаемость – только дополнительный, подчиненный замыслу фактор.

Позволю себе такое сравнение. Вы идете по лесу, зная направление, в котором вам нужно идти. И вдруг попадаете на болотистое место. В таком случае, кроме общей (стратегической) ориентации, вам необходимы какие-то тактические опоры – «кочки», на которые вы будете ступать. Вот всплывающие в памяти слова (точнее, их размытые образы) и создают такой пунктир из «кочек», облегчающий выражение мысли.

Литературный пример. В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» поэт Бездомный слышит на улице слово «Аннушка». И это слово вызывает в его памяти целую цепочку ассоциаций:

«– Аннушка... Аннушка?... – забормотал поэт, тревожно озираясь. – Позвольте, позвольте...

К слову «Аннушка» привязались слова «подсолнечное масло», а затем почему-то «Понтий Пилат». Пилата поэт отринул и стал вязать цепочку, начиная со слова «Аннушка». И цепочка эта связалась очень быстро и тотчас привела к сумасшедшему профессору».

Здесь последовательность *Аннушка – масло – Понтий Пилат – профессор*, действительно, отражает замысел, воплощенный в сюжете.

Но вернемся к комбинаторным способностям слова. Они, конечно, достойны изучения и систематизации. Существуют специальные словари сочетаемости, а также фразеологические словари, собрания крылатых слов, пословиц и т. п.

К примеру, на материале русского языка можно рекомендовать довольно объемное издание: Словарь сочетаемости слов русского языка / под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. 2-е изд. М., 1983. В нем, в частности, на слово **Солнце** после соответствующего толкования («небесное светило, вокруг которого вращается Земля...») приводятся списки таких лексических партнеров:

«Яркое, сверкающее, тусклое, большое, огромное, красное, багровое, восходящее...

Поверхность, диаметр, движение, вращение, активность... Солнца.

Шар, диск, круг, восход, заход, блеск, свет, луч... солнца.

Наблюдать, изучать Солнце, видеть... солнце.

Вокруг Солнца вращаться... К Солнцу лететь... На солнце смотреть... По солнцу ориентироваться...

Солнце встает, всходит, восходит, поднимается, показалось, зашло, село, закатилось, движется, светит, сияет, греет, припекает...» и т. д.

Понятно, что таким образом отражается вся речевая жизнь слова, все особенности его употребления – в разговорных текстах, в научных, публицистических и других.

Наиболее устойчивые словосочетания – те, которые целиком заложены в нашей памяти и воспроизводятся, а не создаются каждый раз заново, – называются фразеологическими. О них уже шла речь; это случаи типа *ахиллесова пята* или *наломать дров*. Еще в начале XX века был издан монументальный фразеологический словарь М. И. Михельсона «Русская мысль и речь», включавший в себя более 11 тысяч словарных статей: устойчивых выражений, крылатых слов, этикетных формул – да еще с цитатами, иноязычными параллелями и т. д. Затем эта лексикографическая традиция была продолжена «Фразеологическим словарем русского языка» под ред. А. И. Молоткова (1-е изд. М., 1967), «Фразеологическим словарем русского литературного языка конца XVIII–XX вв.» под ред. А. И. Федорова (1995) и многими другими пособиями. Существуют также словари крылатых слов, пословиц, эмоционально-экспрессивных оборотов живой речи и т. п., например: Берков В. П., Мокиенко В. М., Шулежкова С. Г. Большой словарь крылатых слов. М., 2000.

Естественно, есть такие словари и для других языков. В частности, солидная серия немецкой издательской фирмы Duden включает в себя том «*Stilwörterbuch der deutschen Sprache*» (буквально: «Стилистический словарь немецкого языка»), который на каждое слово дает образцы типичных словосочетаний. Вот как говорится об этом в издательской аннотации: «Словарь представляет собой всеобъемлющий справочник употребления слов в предложении и выразительных возможностей немецкого языка. Он содержит осмысленные и грамматически правильные словосочетания и дает им стилистическую оценку». А кроме того, в той же 12-томной серии есть отдельные и тоже очень солидные тома «*Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten*» («Обороты речи и поговорки») и «*Zitate und Aussprüche*» («Цитаты и изречения»).

Чем же для нас интересна сочетаемость слова? Через комбинаторику слова реализуется его значение. Скажем, значение слова *солнце* можно с достаточной полнотой представить по его соче-

таемости со словами *светит, освещает, жжет, высоко, яркое, летнее, осеннее, на небе, в зените, над горизонтом, над головой, всходит, заходит, спряталось* и т. п. (см. выше). Роль комбинаторного компонента в значении слова можно показать еще на примере словосочетаний типа *каштановые волосы, карие глаза, бурый медведь*. В принципе везде речь идет об оттенках одного и того же цвета – коричневого. Но в значении слова *волосы* как бы содержится условие: оно употребляется со словом *каштановый*, а *глаза* – это то, что может быть *карим*, и т. д. Нельзя сказать по-русски: «У этой девушки – коричневые волосы». Системность лексики позволяет сформулировать и обратную зависимость. Можно сказать: *каштановый* – это свойство волос, *карий* – это свойство глаз, *бурый* – свойство медведя...

Получается, что лексическому значению, образно говоря, тесно в рамках самого слова. Оно стремится перешагнуть эти пределы, реализоваться и в соседних словах. Очень ярко это свойство проявляется в так называемом **семантическом согласовании**. Речь идет о тех (очень частых) случаях, когда в сочетающихся словах повторяется одна и та же сема. Сравним примеры:

профессор читает лекцию (семы ‘информация’, ‘образование’);

солнце светит ярко (сема ‘свет’);

собака лает (сема ‘лай’);

темная ночь (сема ‘темнота’);

неизлечимо больной (сема ‘болезнь’);

нахлобучить кепку (сема ‘головной убор’) и т. п.

По сути, информация здесь дважды (или даже трижды) дублируется в рамках одного и того же высказывания. Зачем это делается?

Самый общий ответ – для повышения надежности передачи информации (с этой точки зрения в языке много избыточного, но необходимого). Но нас такой общий ответ не удовлетворяет. И мы можем сказать так: семантическое согласование (подобно формальному согласованию в грамматике) необходимо для выражения связи между словами. Действительно, связанные по смыслу слова ведь не всегда оказываются в высказывании рядом (ср.: *Профессор, как я узнал от приятеля, в этом семестре не будет читать лекции*), и наличие общих сем у тех или иных слов сильно помогает при восприятии текста. Что же до процесса речепорождения, то семантическое согласование необходимо для реализации внутренней программы высказывания: это те невидимые глазу корни, которые соединяют кочки, по которым мы ступаем.

Конечно, говорящий, реализуя возникший в голове замысел, контролирует его языковое исполнение. Вместе с тем часто он не просто принимает помощь языка, но оказывается не в силах противостоять его влиянию. В таком случае человек идет **на поводу у языка**, выбирая те единицы, которые подсказываются правилами комбинаторики. Естественно, при этом видоизменяется (или, можно сказать, страдает) сама мысль.

Приведу примеры речевых ситуаций, когда язык ведет за собой мысль. Сначала иллюстрации из устной речи, зафиксированные в письменных текстах.

«Когда идет девица в брюках обтрепанных в сапогах и на них какая-то цепь **на дубе том...** То это конечно не смотрится» (из уже знакомого нам сборника «Русская разговорная речь. Тексты»). Здесь говорящий высказывает свое мнение о молодежной моде: на одежду навешивались цепи и прочие металлические элементы. И слово *цепь* автоматически тянет за собой строку *златая цепь на дубе том* (это пушкинское стихотворение – «У лукоморья дуб зеленый...» – учат все русскоязычные дети).

Поэт Иосиф Бродский, лауреат Нобелевской премии по литературе, рассказывает (в опубликованных диалогах с культурологом С. Волковым) о своей жизни в Америке:

«И, скажем, в Мичигане – там вообще **хоть три года скачи, ни до какого ресторана не доскачешь**. И поэтому там обедаешь, где придется». Изначальный смысл ‘далеко’, ‘не доехать’, ‘большие расстояния’ воплощается здесь в приблизительную цитату из Гоголя. Это городничий в комедии «Ревизор» так говорит о своем городе: «*Отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь*». Понятно, что *государство* заменяется на *ресторан*, да и глагол *скакать* Бродским употреблен фигурально.

А когда всемирно известного скрипача (альтиста) Юрия Башмета в интервью спросили о музыкантах, эмигрирующих из России, то он, в частности, ответил:

«Квартиры здесь давно продали, жен забрали, детей, бабушек, дедушек, кошек **и мышек**» (интервью напечатано в журнале «Итоги» в 2007 г.). Словоформа *мышек* появилась здесь абсолютно случайно, немотивированно: никакой человек, уезжающий за границу, не будет с собой забирать мышей. *Мышки* появились благодаря *кошкам* (есть название детской игры *кошки-мышки*, есть сказки, в которых в одном ряду с дедом и бабкой действуют кошка и мышка...).

Теперь примеры из художественных текстов.

«Он [Ипполит Матвеевич] еще неясно представлял себе, что последует вслед за получением ордеров, но был уверен, что тогда **всё пойдет как по маслу**: «А маслом, почему-то вертелось у него в голове, – кашу не испортишь». Между тем каша заваривалась **большая**» (И. Ильф, Е. Петров. 12 стульев). Здесь слово *масло* в выражении (*всё*) *пойдет как по маслу* вытягивает за собой другое устойчивое выражение – поговорку *Кашу маслом не испортишь* (совершенно неуместную в данном случае).

«От боли я терся головой об обои и всё пытался **занять в пространстве и времени** такую геометрическую позицию, [...] чтоб боль не била...» (Е. Попов. Прекрасность жизни). Если у человека, скажем, болит зуб, то он, действительно, старается принять разную позу (и позицию); это имеет отношение к геометрии, к *пространству*, но слово *время* в данной цитате возникает только потому, что в сознании человека есть устойчивая ассоциация: *пространство и время*.

«Я еще до колхозов был **пролетарии всех стран соединяйтесь**» (В. Пьецух. Освобождение). Тут старик в деревне описывает свою жизнь. И, в частности, рассказывает, что до вступления в колхоз он был неимущим крестьянином, сельским пролетарием. Но слово *пролетарий* сразу же влечет за собой строку коммунистического девиза «*Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*» – и говорящий не в силах этому противиться.

«Редкий человек. Встретились мы с ним необычайно. Иду я как-то **в спокойствии чинном** мимо витрины магазина «Колбасы». Смотрю...» (Э. Радзинский. Снимается кино...). Здесь замысел говорящего претерпевает примерно такие изменения. Изначально заданное в сознании *иду спокойно* проецируется на известную с детства строку Некрасова *И, шествуя важно, в спокойствии чинном...* (отрывок под названием «Однажды в студеную зимнюю пору...» из поэмы «Крестьянские дети» все учат в школе). В результате получается *иду я как-то в спокойствии чинном* – хотя спокойствие не обязательно должно быть чинным, и Некрасов тут, строго говоря, ни при чем.

«Я поздно задымил, уже в институте. Сначала курил папиросы – “Беломорканал”. Потом у нас **произошла оранжевая революция**, и мы перешли на сигареты «Дукат» в оранжевых пачках, по 10 штук в каждой» (А. Ширвиндт, Schirwindt, стертый с лица земли).

Говорящий рассказывает, как он переходит с одного вида курева – папирос – на другой: сигареты. Но эти сигареты были в ярких упаковках (всплывает слово *оранжевый*), а эта подробность вытягивает за собой словосочетание *оранжевая революция* (политический переворот в Украине), бывшее лет десять назад у всех на слуху. И в результате «на выходе» появляется выражение *оранжевая революция*, не имеющее в общем-то никакого отношения к курению...

Следующая и последняя в этом ряду цитата ценна тем, что ее автор по образованию – психиатр и смотрит на интересующую нас проблему с профессиональных позиций:

«Я часто езжу в поезде Москва – Воронеж... “Хрен догонишь!” Последнее словосочетание всегда всплывает в моем сознании при появлении в нем первого. Глупо, но факт. И честно. Подделать с этим ничего невозможно. В психиатрии это называется обсессиями, по-простому – навязчивостями. Лечится плохо» (А. Бильжо. Заметки пассажира).

Источником подобных реминисценций (приблизительных цитат и крылатых слов) чаще всего служат фрагменты литературных произведений школьной программы, строки из массовых песен, фразы из кинофильмов и телепередач (особенно комедийных), пословицы и поговорки, анекдоты и шутки, лозунги, рекламные слоганы, газетные рубрики и т. п.

Между прочим, тот герой рассказа Карела Чапека, профессор Роус, о котором я рассказывал на прошлой лекции, после того, как он помог изобличить преступника, решил опробовать свой метод на других присутствующих. Все шло хорошо, пока профессор не наткнулся на журналиста. От него он смог получить только набор шаблонных фраз – никакой собственной мысли! На стимул *рука* испытуемый выкладывал целый набор штампов: *Братская рука помощи. Рука, держащая знамя. Крепко сжатый кулак. Нечист на руку. Дать по рукам. На стимул оружие – Братся за оружие. Вооруженный до зубов. Нанести удар в спину. Мы не покинем поле боя...* и т. д.

Понятно, что использование тривиальных, шаблонных сочетаний слов создает проблему для ревнителей чистоты и правильности речи. Стилистика борется с ними как с речевыми стереотипами. Вот как пишет К. Яковлев в книжке с характерным названием «Как мы портим русский язык»:

«Штампы, наверно, – самая страшная беда писателя. [...] Молчание обязательно *тягостное* или *неловкое*, *думы* – *тяже-*

лые или нелегкие, выстрел или взрыв – прогремел... Да что там! Нередко встретишь и роковые минуты и секунды, изнурительные бои, упорное сопротивление, последние силы и, хуже того, – нечеловеческие мучения, леденящий страх, бессильную злобу, реальную угрозу».

А, собственно, как сказать по-другому? Даже если человек обладает оригинальным взглядом на ситуацию, выбор языковых единиц у него не так уж велик. Допустим, о молчании вместо *тягостное* или *неловкое* можно сказать *томительное* или *гнетущее*, но будет ли это лучше?

Всё сказанное убеждает нас в том, что в памяти человека хранятся в готовом виде не только слова, но и целые воспроизводимые коммуникативные фрагменты (термин Б. М. Гаспарова) – словосочетания, иногда даже целые предложения. В таком смысле сегодня часто говорят о **прецедентных текстах**, а в литературоведении еще шире – о феномене **интертекстуальности**. В качестве прецедентного текста можно рассматривать не только целые предложения или словосочетания, но и отдельные имена (*Шиллер*, *Медный всадник*, *Плюшкин* и т. п.). Феномен текстовых реминисценций, вкраплений из предшествующих текстов изучается в работах многих российских, белорусских, зарубежных авторов: Ю. Н. Караулова, А. Е. Супруна, Г. Г. Слышкина, В. Г. Костомарова и Н. Д. Бурвиковой... При этом данное явление очень интересно в социологическом аспекте: прецедентный текст приобретает роль символа, позволяя судить о культурном багаже носителя языка (и, соответственно, общности такого багажа для адресанта и адресата). Но понятно, что те словари крылатых слов и выражений, которые издаются, охватывают только малую часть реального вербально-культурного мира, существующего в сознании человека.

Уже упомянутый Борис Михайлович Гаспаров, живущий ныне в США, издал в 1996 году в Москве монографию «Язык. Память. Образ», с подзаголовком «Лингвистика языкового существования». Эта книга имела большой резонанс. В ней говорится, что абсолютное большинство употребляемых нами выражений уже было использовано в том или другом источнике и, более того, возможно, вошло в нашу память благодаря этим источникам. Скажем, Гаспаров берет русскую словоформу *рук* и демонстрирует, что это не какая-то схоластическая форма родительного падежа множественного числа, а часть всем известных оборотов вроде *дело чьих-то рук*, *отбился от рук*, *сбыть с рук*, *я без тебя как без*

рук, тепло ее рук, «Скращения рук, скращения ног, судьбы скращения» (из Пастернака), *пожатие рук, работать не покладая рук, «Ловкость рук, и никакого мошенства»* (ходячее выражение), *он не уйдет от рук палача, «Веще перо из рук упало»* (Некрасов), *купили с рук, узнать из вторых рук* и т. д., и т. п.

Выводы исследователя оказываются не то чтоб неожиданными, но, пожалуй, слишком категоричными. Пр процитирую несколько тезисов:

«Основу языкового умения составляют не абстрактные правила, с помощью которых можно было бы создавать различные построения из языкового материала, – но скорее сам этот материал как первичная данность, усваиваемый в конкретной форме и применительно к конкретным условиям употребления».

«Основу нашей языковой деятельности составляет гигантский “цитатный фонд”, восходящий ко всему нашему языковому опыту. Языковая память каждого говорящего формируется бесконечным множеством коммуникативных актов, реально пережитых и потенциально представимых».

«Цитата не есть изолированный отрезок речи, раз и навсегда отложившийся в определенной ячейке памяти, но непрерывный «гул», заполняющий всё интеллектуальное пространство, в котором осуществляется наша языковая перцепция и языковое творчество».

Концепция Гаспарова оказалась очень близка теоретической модели, получившей на Западе английское название *usage-based model* («модель, основанная на употреблении»). Эта теория была предложена в конце 80-х годов XX века видным американским ученым, когнитивистом Рональдом Лангакером в противовес хомскианской модели. Суть ее в том, что носитель языка осваивает не только минимальный набор грамматических правил (имеющих, кстати, различную силу), но и огромный объем конкретных выражений. (Одна из ключевых статей Лангакера опубликована в русском переводе в двух номерах «Вестника Московского университета» за 1997 год.) Позже эта теория была развита американцами С. Кеммер и М. Барлоу (S. Kemmer & M. Barlow).

Я думаю, что «цитатный фонд», или «цитатный фон», действительно, существует в сознании носителя языка и является чрезвычайно важным условием речевой деятельности. Однако не забудем, что в примере, приведенном Гаспаровым, мы имели дело с очень употребительным, активным в речи словом *рука*. Любая его форма, в том числе и *рук*, входит в состав или участвует в

многочисленных устойчивых выражениях («цитатах»), хранящихся в нашей памяти. Но если бы мы взяли более редкое слово, допустим, *запястье* или *приспосабливать*, то вряд ли нашли бы для него соответствующие устойчивые контексты.

Наличие «цитатного гула» не отменяет иных форм, в которых существует языковая компетенция – таких, как словоизменительная парадигма, словообразовательная модель, синтаксическая схема и др. В пользу этого говорят и те случаи, когда говорящий создает в процессе речепорождения **новую** единицу, явно не существовавшую до данного речевого акта (речь идет хотя бы о словообразовательных окказионализмах вроде *переднесть* или *выступанец*).

Впрочем, рассуждая о том, как соотносится **производство** и **воспроизводство** текста, надо делать поправку на индивидуальные характеристики говорящего. Я имею в виду, что различные типы языковой личности в разной степени предполагают участие творческого момента. Вспомним то, что уже говорилось в одной из лекций о патологических или «акцентуированных» типах. А кроме чисто индивидуальных особенностей, следует учитывать также и роль среды, коммуникативных условий речевого акта. Можно сказать, что существует особый тип языкового сознания, соотносящийся со стереотипными действиями, с массовой культурой и ориентированный исключительно на воспроизводство массовых же текстов. Это – совместная область внимания психолингвистов и социолингвистов.

В частности, саратовские ученые Илья Наумович Горелов и Константин Федорович Седов предлагают выделять речевую субкультуру как «особую область народного коллективного творчества», существующую в сознании носителей языка «в виде цитат, выхваченных из каких-либо текстов, из разнообразных коммуникативных ситуаций. Такие фразы передают экспрессию того момента, осколком которого они являются; они несут в себе эмоциональную память о речевом акте, их породившем» (Горелов И. Н., Седов К. Ф. Основы психолингвистики. М., 1997).

А вот примеры подобных ситуаций, зафиксированные в литературе. Сначала – цитата из юмористического рассказа «Драма с попугаем» (авторы – М. Азов, Вл. Тихвинский).

«В одном приличном доме всегда собиралась компания преферансистов. Играли в одну и ту же игру, и говорили одни и те же слова. Острили.

Кто-нибудь чихнет, ему говорят «будь здоров», а он обязательно отвечает:

– Это не ваше дело, это дело райздравотдела.

Проигрывает человек и обязательно провозглашает:

– Что такое «не везет» и как с ним бороться.

О служебных делах говорить не принято.

– Разговор на эту тему портит нервную систему.

– Работа не Алитет, в горы не уйдет!

Думать тоже не принято:

– Пусть начальство думает, у него голова большая...»

Второй пример – из текста пьесы (или сценария) Владимира Сорокина «Пельмени». Там действует некто Иванов Николай Иванович, «сторож автобазы, в прошлом прапорщик». Речь этого Иванова насыщена общеизвестными сентенциями, поговорками, коллоквиализмами и трюизмами, типа *Жадность фраера сгубила; Денежки все любят; Чем шире рот, тем больше хочется; Ни шагу назад! Мы пскопские, мы прорвемся; Артиллерия – бог войны* и т. п. Понятно, что такая стереотипность речевого поведения находится в прямой связи со стереотипностью невербального поведения, с убожеством картины мира и жизненной программы данного персонажа.

Итак, сочетаемость слов для психолингвиста представляет двойкий интерес. С одной стороны, таким образом выявляются элементы имманентного, скрытого от нас значения слова. А с другой стороны, свойство сочетаемости приводит к образованию готовых полуфабрикатов, блоков, облегчающих говорящему путь от замысла к тексту.

**ГРАММАТИКА ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ
ПСИХОЛИНГВИСТИКИ.
СИНТАКСИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ**

На этой лекции мы продолжим разговор о соотношении производства и воспроизводства текста в процессе речепорождения. Но теперь я буду говорить о грамматических единицах, и прежде всего о предложении и высказывании.

Итак, первый и самый важный вопрос: насколько конкретное высказывание зависит от самого говорящего, от обстановки данного момента и насколько – от языковой системы? Иными словами, насколько высказывание оригинально или, напротив, воспроизводимо? (От этого зависят и возможности его лингвистического моделирования.) На этот счет есть две различные, можно сказать – противоположные, точки зрения. Первая может быть представлена такими цитатами.

Известный русский ученый Лев Владимирович Щерба: «Все сочетания слов нормально создаются нами в процессе речи, в результате весьма сложной игры сложного речевого механизма человека в условиях конкретной обстановки данного момента» (статья «О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании»).

Замечательный русский филолог Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975) более диалектичен: «Высказывание никогда не является только отражением или выражением чего-то вне его уже существующего, данного и готового. Оно всегда создает нечто до него никогда не бывшее, абсолютно новое и неповторимое. [...] Но нечто созданное всегда создается из чего-то данного...» (статья «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках»).

Крупный французский языковед Эмиль Бенвенист (1902–1976): «Число предложений бесконечно. [...] Предложение – образование неопределенное, неограниченно варьирующееся; это сама жизнь языка в действии. С предложением мы покидаем об-

ласть языка и вступаем в другой мир, в мир языка как средства общения, выражением которого является речь» («Уровни лингвистического анализа»: доклад на IX Международном конгрессе лингвистов).

Итак, согласно этой точке зрения, предложение – оригинальное речевое образование. Оно каждый раз производится заново, а не воспроизводится. Но есть и другая точка зрения. Рассмотрим следующие цитаты.

Уже знакомому для нас Александру Матвеевичу Пешковскому, прекрасному грамматисту и педагогу, принадлежат следующие слова: «Все мы говорим по определенным шаблонам, употребляем определенные формы сочетаний, усвоенные нами с детства вместе со словами и звуками данного языка и унаследованные нашим поколением от предшествующих поколений. Эти шаблоны [...] предносятся нашему сознанию **всегда**, о чем бы мы ни говорили и что бы ни слушали. Это наш **синтаксический багаж**, взятый нами с детства в наш жизненный путь. [...] Выдумывать особую чисто индивидуальную синтаксическую оболочку для нашей мысли, соответствующую нашему индивидуальному переживанию, мы не можем, как не можем выдумывать своих звуков, своих слов, своих значений, потому что всё это значило бы выдумывать **свой язык**, на котором ни с кем нельзя было бы объясняться» (книга «Русский синтаксис в научном освещении», 2-е изд.).

Другой крупный русский языковед, один из основателей Московской фонологической школы, Петр Саввич Кузнецов (1899–1968) писал: «Говорящий (или пишущий) не творит всё то, что он говорит (или пишет), каждый раз заново, а пользуется какими-то элементами, уже знакомыми ему (и его собеседнику или читателю), содержащимися в его памяти, черпает их оттуда и даже комбинирует каждый раз по каким-то уже имеющимся шаблонам» (статья «О языке и речи»).

На том же настаивал и известный чешский лингвист, один из основателей Пражского лингвистического кружка, Вилем Матезиус (1882–1945): «Предложение – это не продукт преходящего момента и по своему существу не может целиком определяться какой-либо ситуацией. Следовательно, предложение не принадлежит целиком речи, а связано в своей обычной форме с грамматической системой языка, к которой оно относится» (статья «О системном грамматическом анализе»).

Как видим, согласно второй точке зрения, человек создает речевые единицы по определенным синтаксическим шаблонам, об-

разцам, моделям. Попробуем между этими полярными позициями найти некоторую золотую середину. С одной стороны, действительно, мы не можем отрицать индивидуальный и творческий («креативный») характер речи. Человек – не попугай и не граммофонная пластинка. Иногда он, открывая рот, еще не знает, что именно будет говорить! С другой стороны, всё наше индивидуальное творчество происходит на фоне определенных образцов, моделей, – иначе общение будет неэффективным. Даже в ситуации крайнего волнения, аффекта, человек, говорящий сумбурно, бессвязно (например: *Там! Пожар! Люди! Помогите!*), придерживается некоторых правил данного языка и использует не только заложенные в его памяти слова, но и уже готовые грамматические образцы.

Об этом очень хорошо сказал российский германист Владимир Григорьевич Адмони (1909–1993). Приведу обстоятельную цитату из его книги «Система форм речевого высказывания»: «Конечно, в бесчисленных разновидностях своих речевых проявлений высказывание может чрезвычайно далеко отойти от исходной структуры предложения. [...] Но всегда, во всех без исключения случаях, если мы остаемся в пределах человеческого языка, обнаруживаются хотя бы отдаленные связи между любыми формами речевого высказывания и типологией предложения в каждом языке. [...] Любая фрагментарность, «структурная размытость», грамматическая «алогичность» высказывания позволяют все же найти те грамматически закреплённые структуры, к которым (или к проекциям на которые) восходят все без исключения своеобразные черты спонтанной разговорной речи, вообще разового высказывания».

Такой взгляд на предложение отвечает пониманию грамматики как **концептуализации**. Данное определение было предложено американцем Рональдом Лангакером. Что оно означает? Человек обобщает и закрепляет опыт своей практической деятельности в форме абстрактных грамматических категорий. Это и есть категоризация или концептуализация знания: способ нашего освоения действительности. Грамматические категории позволяют человеку включить новую (отражаемую в данный момент) ситуацию в систему уже привычных знаний. Когда-то Сепир, сравнивая примеры типа *Фермер убивает утенка* и *Человек берет цыпленка*, замечал: «Мы инстинктивно чувствуем, что оба предложения следуют одной и той же модели, что структурно это в основном то же предложение, отличающееся только в каждом случае своим материальным наполнением» («Избранные труды по языкознанию и культурологии»).

Всё сказанное объясняет, почему в русской лингвистике в последние десятилетия укрепляется понятийное и терминологическое противопоставление **предложения** и **высказывания** (то же происходит и в других европейских языках, ср.: англ. *sentence* и *utterance*, нем. **der Satz** и **die Aussage**, пол. **zdanie** и **wypowiedzenie** и т. п.). Предложение – это языковая единица, обобщенная схема, готовая для выражения мысли. Высказывание – речевая единица, реализация предложения в конкретных условиях речевого акта. В этом смысле можно сказать, что *Фермер убивает утенка* и *Человек берет цыпленка* – это **разные высказывания, но одно предложение**.

Причем обобщенная схема высказывания, его структурная основа – не просто придумка лингвистов, помогающая им систематизировать многообразные речевые единицы. Это реальный инструмент речевой деятельности, позволяющий человеку осмыслить, освоить ситуацию, подлежащую вербализации. Напомню слова Й. Л. Вайсгербера: «Схемы предложений во многом заранее определяют тот способ, которым формируется мысль». Данный тезис неоднократно подтверждался и другими учеными. Известный австрийский лингвист и психолог Карл Бюлер (1879–1963) рассказывал об экспериментах, в которых испытуемых просили пересказать содержание афоризмов. Выяснилось, что «та или иная целиком или отчасти **пустая синтаксическая схема** предшествовала самой формулировке ответа и, видимо, как-то ощущимо на практике управляла речью» («Теория языка»). А следующее утверждение замечательного белорусского лингвиста П. А. Бузука поворачивает к нам проблему другой стороной. Ученый писал: «Мы говорим и мыслим только предложениями. Первое слово, которым определяется начальный момент языка, и даже первоначальный жест будет уже предложением...» («Основные вопросы языкознания»). А слова уже выделяются из предложения как его составные части...

Психическая реальность предложения как обобщенной схемы находит свое выражение в таком его свойстве, как эмерджентность. Эмерджентность (от англ. **emergent** – ‘неожиданно появляющийся’) – целостность, наличие у системы таких качеств, которыми не обладают по отдельности составляющие ее элементы. Н. И. Жинкин среди своих психолингвистических опытов проводил и такой. Бралось обычное высказывание (например, следующее: *Заниматься физкультурой полезно, приятно и каждому доступно – это давно доказано наукой*), «рассыпалось» на отдель-

ные словоформы (*доступно, доказано, физкультурой, и, всякому и т. д.*) и в таком виде предлагалось испытуемым. Те должны были восстановить исходный текст. Оказалось, что успешное решение зависело от нахождения синтаксической основы. Все участники эксперимента подтверждали, что «синтаксический оборот приходил в голову сразу, как нечто целое. Время в этих опытах идет на то, чтобы, мысленно сопоставляя слова, ждать, когда «всплывет» подходящая конструкция» (из статьи «О кодовых переходах во внутренней речи»).

Итак, мы принимаем, что переход от замысла к внутренней Программе высказывания и далее, от внутренней речи к внешней, требует выбора какой-то схемы, модели: говорящий должен **упорядочить отражаемую (референтную) ситуацию**, придать ей структурную организацию.

Возьмем простой пример. Человек наблюдает за осенней природой. Он видит, как с деревьев падают на землю листья. Язык предлагает говорящему некоторые типовые «положения дел», под которые можно подвести данную референтную ситуацию. Например: «что-то перемещается (падает) откуда-то куда-то»: *Листья опадают с деревьев (на землю), Листва облетает с веток.* Но, допустим, человек по-другому видит эту ситуацию, он предпочитает другую типовую модель, вот такую: «кто-то/что-то теряет что-то». Далее эта типовая ситуация получит в речи соответствующую реализацию, в том числе лексическую. В частности, «кто/что» – это здесь может быть *лес, роща, деревья, береза...* «Теряет» – это *теряет, роняет, сбрасывает, скидывает...* «Что» именно сбрасывает – *листья, листву, наряд, убор* и т. д. И если наш условный «человек» – поэт, он может сказать, в частности:

«Роняет лес багряный свой убор...» (А. С. Пушкин);

«Как роща сбрасывает листья...» (Б. Пастернак);

«Как дерево роняет тихо листья...» (С. Есенин);

«Леса мои сбросили кроны...» (А. Вознесенский).

Понятно, что ряд цитат тут можно было бы и продолжить. Но и без того понятно: глубинный структурный образец у всех этих высказываний – один и тот же. И теперь нас интересуют следующие вопросы: как организована эта синтаксическая модель? Что является ее основой? Чем структура высказывания отличается от структуры предложения?

Надо признаться, что идея ядерных конструкций, которые составляют **структурную основу** высказываний, пришла из гене-

ративной грамматики. Тезис о том, что в голове у человека есть некоторое количество исходных, изначальных схем построения фраз, которые затем многократно используются в речи, получила у психолингвистов экспериментальное подтверждение. В частности, я уже упоминал об опытах, в которых испытуемым предлагались предложения, связанные отношениями трансформации, типа *Рабочие строят дом – Дом строится рабочими* или *Рабочие строят дом – Рабочие не строят дом*. Тогда же я говорил, что осознание высказываний, полученных в результате трансформации, занимает у человека больше времени (это показали американцы Дж. Миллер, потом Г. Сэвин и Э. Перчонок, потом Д. Слобин). Это свидетельствует о психологической реальности ядерных схем.

Систематизация синтаксических образцов (моделей предложения, структурных схем) была весьма актуальной и для российской лингвистики. В частности, по такому принципу построены синтаксические разделы в двух академических грамматиках, созданных под руководством Наталии Юльевны Шведовой – так называемых «Грамматике-70» и «Грамматике-80».

Но постепенно стало ясно, что выделение чисто формальных образцов (в терминах морфологических или позиционных классов слов) приносит мало пользы. Необходимо обращение к семантической стороне этих моделей, к тем типовым ситуациям, которые стоят за этими схемами. Это ознаменовало собой переход к «семантическому синтаксису», к глубинным структурам.

Выяснилось, что решающую роль в таких смысловых структурах играет **предикат** – и это вполне соответствует психолингвистическим идеям. Напомню, что, по Леонтьеву, внутренняя Программа высказывания соответствует его «содержательному ядру», а именно тем компонентам, которые связаны с предикатом. А вот как говорится об этом в современном пособии по семантике: «Предикат является главным, определяющим элементом в структуре пропозиции постольку, поскольку ситуация определяется не объектами, которые в ней участвуют, а теми отношениями, в которых они находятся» (Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М., 2000).

Попробую показать это на одном примере. Писательница Ольга Форш в своем романе «Сумасшедший корабль» иронизирует над тем, какую роль сыграло учение Иммануила Канта для мятущейся и рефлексирующей русской интеллигенции. Итак, тема известна и она воплощена в слове – это *Кант*. Но какой вид примет

зарождающееся высказывание, не зависит от имени немецкого философа. Слово *Кант* будет занимать здесь разные позиции – в зависимости от того, как будет представлена типовая ситуация и какой предикат будет ее в себе фокусировать. Одно дело – сказать *восхищаться Кантом*, другое – *следовать Канту*, третье – *опираться на учение Канта* и т. д. Вот как это сказано в самом романе:

«Спасаясь от внутреннего разорения, вымирающий интеллигент укрывается в честную **Кантову крепость**, плющом обвивается **вокруг Канта**, паразитирует **на Канте**».

Поскольку предикат фокусирует, концентрирует в себе всю суть ситуации, то систематизировать типовые ситуации значит то же самое, что перечислить классы предикатов. Но список этот у разных авторов сильно различается. Так, Ю. С. Степанов в книге «Имена. Предикаты. Предложения. Семиологическая грамматика» (М., 1981), развивая классификацию Аристотеля, выделяет 10 типов предикатов: сущность, количество, качество, отношение (соотнесение), место, время, положение, состояние, действие, претерпевание (страдание). Но эта семантическая классификация оказывается слишком грубой, общей. Поэтому у других авторов число классов предикатов больше. Например, у Юрия Дерениковича Апресяна их 17: действие, деятельность, занятие, поведение, воздействие, процесс, проявление, событие, положение в пространстве, локализация, состояние, свойство, способность, параметры, существование, отношение, интерпретация.

Организирующая роль предиката проявляется в том, что он подразумевает определенное количество позиций, заполняемых актантами, т. е. участниками ситуации. Такие синтаксические модели обладают большей, чем формальные, объяснительной силой и практической ценностью. При этом синтаксическая модель сводит референтную ситуацию к минимуму, она, опираясь на коммуникативный опыт, оставляет набор только самых необходимых «участников». Обычно это 1–2, реже 3 или 4 актанта. Скажем, для ситуации свойства достаточно одного участника: *Волосы вьются, Петя заикается*. Для ситуации локализации необходимы 2 актанта, «кто» и «где»: *Петя очутился в лесу. Лион находится во Франции*. Конечно, в конкретном случае говорящий может обозначить любые сопутствующие факторы и обстоятельства, но они уже будут выступать в качестве распространителей модели: структурная схема компактна и эмерджентна, ей «лиш-

него» не надо. Тем самым мы убеждаемся, что грамматическая система конкретного языка принимает участие в формировании и выражении мысли.

Покажу это опять-таки на примере. Предикат «дружить» требует двух участников типовой ситуации: «кто дружит» и «с кем дружит»: *Петя дружит с Мишей*. Это, так сказать, стандарт мысли, закрепленный в языке. (Данные два участника могут быть представлены и в виде собирательного субъекта: *Петя и Миша дружат; Ребята дружат*.) Но, если это необходимо, мы можем уточнить обстоятельства этой дружбы. Например, сказать: *Петя дружит с Мишей с первого класса*. Или: *Ивановы и Петровы дружат семьями (домами)*. Более того, если поискать по текстам (а сегодня можно и заглянуть в интернет-источники), то мы найдем там самые разнообразные распространители, в том числе довольно неожиданные. В частности, обнаружится выражение *дружить против кого*. Приоритет на него принадлежит Фаине Раневской (это она как-то спросила перешептывающихся актрис: «Против кого дружим, девочки?»), но вот уже появилась и книга Евгения Стеблова с названием «Против кого дружите?», и в политической публицистике сочетание стало привычным.

Другой «нестандартный» распространитель для *дружить* – дополнение *о чем* (оно возникает, по-видимому, по аналогии с управлением, свойственным глаголам речи), ср.:

«Ира была девочкой неглупой, хотя **дружить** ей с Бронькой было совершенно **“не о чем”**» (Л. Улицкая. Бедные родственники).

Но все эти распространители – «как», «с какого времени», «против кого», «о чем», «для чего» и т. п. – не входят в обязательное синтаксическое окружение предиката *дружить*, не образуют состава его актантов. Типовая ситуация дружбы их не учитывает.

Попробую теперь систематизировать доказательства психологической реальности синтаксических моделей.

Во-первых, она проявляется в том, что многие конкретные высказывания строятся по принципу строгого соблюдения – не больше и не меньше! – ядерной конструкции (или, в другой терминологической парадигме, предикатно-актантной структуры). Такой речевой минимализм особенно характерен для учебной литературы на начальном этапе обучения (буквари, разговорники). Вспомним знакомые нам с детства фразы: *Маша ела кашу; Наша Маша мала; У Шуры шары* и т. п. А в качестве развернутого при-

мера приведу начало произведения писателя-концептуалиста Льва Рубинштейна «Мама мыла раму»:

- (1) Мама мыла раму.
- (2) Папа купил телевизор.
- (3) Дул ветер.
- (4) Зою ужалила оса.
- (5) Саша Смирнов сломал ногу.
- (6) Боря Никитин разбил голову камнем.
- (7) Пошел дождь.
- (8) Брат дразнил брата.
- (9) Молоко убежало.
- (10) Первым словом было слово «колено».

И т. д.

Вся концептуальная ценность этого произведения основана на слепом следовании синтаксическим образцам (а также отсутствию связи между отдельными высказываниями). Пожалуй, только предложение № 6 выпадает из общего ряда: предикат *разбить* в сочетании с названием части тела требовал бы присутствия трех актантов: не только «кто» и «что», но и «кому» (*себе, Пете, соседу* и т. п.), а здесь эта позиция осталась незаполненной.

Если типовая ситуация определена, выбрана, но какой-то из ее участников неясен, не идентифицирован, то говорящему приходится заменить его название субститутом – местоимением, гиперонимом, приблизительной номинацией, ср. примеры:

«Этого публика не ждала и принялась судить и рядить, **кто, что и кому** посылает во втором ящике» (М. Шагинян. Месс-Менд).

«Помню, в детстве еще, часами, вежливо улыбаясь, сидел над неподвижным поплавком, стесняясь бестактным своим уходом огорчить... **кого? Рыбу? Поплавок?** Абсолютно непонятно» (В. Попов. Две поездки в Москву).

«– Всё равно я не могу ни с того ни с сего бить человека по физиономии.

– Так ведь не обязательно же **по этой... по морде**, – сказал Тузик. – Можно, например, и **по этой... по заднице**» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Улитка на склоне).

«Идет, такая величественная, а на раменах ее накинута такая **хламидомонада**» (Вен. Ерофеев. Из записных книжек; *хламидомонада* – «чужое» слово, термин из биологии; возможно, здесь сработала фонетическая ассоциация с *хламида*).

Отсутствие в высказывании необходимого «по штату» участника ситуации (т. е. незаполненная позиция актанта) производит

сильное впечатление на адресата. Если читающий книгу сталкивается с фразами типа *Стережет дом. Маргарита оказалась. Мы тебе желаем*, то глаза невольно ищут продолжения или объяснения. Но об этом речевом эффекте «обманутого ожидания» мы подробнее поговорим в следующей лекции.

Во-вторых, психологическая реальность моделей обнаруживает себя в примерах **синтаксического параллелизма**. Это значит, что говорящий, не имеющий, разумеется, никаких научных понятий о синтаксических структурах, нередко строит высказывание по инерции – по образцу, заданному предшествующей фразой. Иными словами, выбранная модель высказывания синтагматически предопределяет строение следующего высказывания. Чаще всего это бывает в фольклорных или поэтических текстах, но встречается (очевидно, со специальным эстетическим заданием) и в прозе, ср.:

«Дробно стучали выбивные решетки. Истошно вопили шлифовальные камни. С перекатами громыхали очистительные барабаны. Безостановочно двигались узкие ленты многих конвейеров. Люди смешно открывали беззвучные рты...» (Г. Николаева. Битва в пути).

Данная синтаксическая особенность не проходит мимо внимания стилистов. Да и психиатры обращают на нее внимание. В частности, автор «Словаря безумия» В. Руднев, критикуя роман Владимира Сорокина «Роман» за «бредовость в плане означаемого», останавливается и на синтаксисе: «Здесь интересно ярко выраженное матричное построение, которое является знаком **измененного состояния сознания** (выделено мною. – Б. Н.). В данном фрагменте первое предложение почти полностью повторяет структуру восьмого, третье – девятого, четвертое – десятого и т. д. Это повторяется на протяжении нескольких десятков страниц».

Добавлю, что синтаксический параллелизм может влиять на значение слова, приводить к тому, что весьма разные понятия отождествляются. Так происходит в следующем диалоге:

«– Ты просто устал, – догадалась жена. – Тебе надо отдохнуть. Сделать перерыв.

– Как отдохнуть? Сесть и ничего не делать?

– Поменяй обстановку. Поезжай на юг. Будешь плавать в любую погоду.

– **Там война**, – напомнил Месяцев.

– В Дом композиторов.

– **Там композиторы**.

– Ну, под Москву куда-нибудь. В санаторий» (В. Токарева. Лавина).

Одинаковое устройство реплик *там война* и *там композиторы* позволяет читателю понять, что Месяцев расценивает эти две ситуации как подобные и в равной степени для него неприемлемые («композиторы – это как война»).

Еще одно, третье свидетельство психологической действительности синтаксических моделей – образование **новых высказываний по образцу известных устойчивых выражений** (здесь уже влияние наблюдается, так сказать, в парадигматическом плане). Так, в русском языке давно существовала модель высказывания, которую можно условно обозначить как «кто-то кому-то – кто-то». По ней, в частности, образована калькированная с латинского оригинала *Номо homini lupus est* поговорка *Человек человеку волк*. Но не меньшее распространение получили в русском языке поговорки с отрицанием: *Сытый голодному не товарищ, Конный пешему не товарищ, Гусь свинье не товарищ, Медведь корове не брат, Сапог лаптю не ровня* и т. п. В последние годы появляются шуточные выражения, основанные на той же модели. Такие переделки получили название «антипоговорок»; это еще одно доказательство активности прецедентных текстов, ср.:

«Сытый конному не пеший, Лысый голодному не товарищ, Мертвый голодному не товарищ, Килька осетру не товарищ, Рубль лире не товарищ, Евро баксу не товарищ, Гусман Михалкову не товарищ, Гусь товарищу не свинья» и т. п. (см.: Вальтер Х., Мокиенко В. М. Антипоговорки русского народа. СПб., 2005).

Каждый актант, каждая позиция синтаксической модели рассчитана на заполнение определенным кругом лексики. В этом заключается кооперация, взаимодействие лексической и грамматической семантики. Одна из самых простых интерпретаций этого взаимодействия – через понятие **изосемичности** (этот термин ввела московский синтаксист Галина Александровна Золотова). Изосемичность есть соответствие лексической семантики слова его синтаксической роли в высказывании.

В частности, для ситуации передвижения наиболее естественный субъект – живое существо, например: *Петя уехал* или *Соседи уехали*. Можно усмотреть здесь даже нечто подобное семантическому согласованию, о котором уже шла речь. В примере *Машина уехала* семантическое согласование тоже действует: машина подобна живому существу, у нее есть мотор и т. д. А вот если мы встречаем в тексте, допустим, *Велосипеды уезжали* (это цитата из рассказа Л. Петрушевской «Все имеют право на концепт»), то в этой фразе уже чувствуется нарушение некоторых внутрен-

них языковых предписаний. Дело в том, что в значении слова *velociped* нет семы 'способный к самостоятельному движению'. Следовательно, перед нами метафора. Еще неожиданной в качестве субъекта движения *собор* или *площадь*, ср. пример:

«...Всё скорее, всё таинственнее едут дома, **собор, площадь, переулки**... И хотя уже давно мимо вагонного окна развертывались поля в золотистых заплатах, Франц еще ощущал, как **отъезжает городишко**. [...] **Город уехал**» (В. Набоков. Король, дама, валет).

Конечно, в художественной литературе, да и в разговорной речи, мы встречаем множество примеров неизосемического заполнения синтаксических позиций, например:

«Поезд набрал скорость, **стакан подъехал** к бутылке» (М. Шишкин. Венерин волос).

«**Одессу строило хлебное зерно**» (М. Шагинян. Тайна трех букв).

«**Люстра выронила** одну из своих свечей» (В. Набоков. Приглашение на казнь).

«**Зато суббота** после стипендии гудела всеобщей **выпивкой и танцами** до середины ночи» (М. Веллер. Легенды Невского проспекта).

Две тайны примеряют кружева,
Им так охота выглядеть красиво!
Одна из них пять платьев износила –
Она пять лет на свете прожила

Д. Сухарев. Две женщины

Понятно, что все эти высказывания рассчитаны на определенный эстетический эффект, они должны обратить на себя внимание читателя. Но в то же время они представляют собой исключение, которое подтверждает общее правило, действующее в нашем сознании. И правило это звучит так: лексическое значение слова соответствует некоторому диапазону его синтаксического использования (и наоборот).

Таким образом, мы видим, что в процессе формирования высказывания уровни языка взаимодействуют между собой. И все же у синтаксиса здесь особая роль. Заложенные в языковом сознании модели предложений позволяют человеку опознавать любую референтную ситуацию, с которой он сталкивается, и соотносить ее с уже имеющимся коммуникативным и когнитивным опытом. Образно говоря, синтаксические модели – это рельсы, по которым движется поезд человеческого познания.

ГРАММАТИКА СЛУШАЮЩЕГО: ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА

Сразу договоримся: *слушающий* – условное название того, кто воспринимает и понимает текст (неважно, устный или письменный). Другое название для этого второго участника речевого акта – *реципиент*, а еще – *адресат*.

Как уже говорилось, существует представление о деятельности слушающего как о зеркальном отражении деятельности говорящего: говорящий идет от смысла к форме (звуковой или буквенной), а реципиент, наоборот, идет от звуков или букв к словам и складывает из тех целые предложения с искомым смыслом. Оправдано ли оно?

Путь от формы к смыслу мы только условно именуем (вслед за Щербой) «пассивной грамматикой». На самом деле деятельность слушающего – это активная встречная работа. Слушающий не просто слушает или пробегает глазами текст, он старается идти навстречу говорящему в своем стремлении получить исходный смысл. Иными словами, восприятие – активная деятельность, это **постоянное построение семантических гипотез**. Об этом стоит поговорить подробнее.

Вот собеседник заговаривает со мной: «Ты слышал, вчера в новостях сказали...» И я, не дождавшись конца сообщения, начинаю вспоминать: смотрел ли я вчера новости по телевизору? А если нет, что там могли бы сказать такого важного? Я уже очерчиваю определенное информационное поле: это могут быть новости из области политики или экономики и т. п. **Я настраиваюсь** на определенный вид информации.

Если вы подойдете к кассе вокзала и вместо привычного «*Дайте мне билет до Москвы на пятое мая на поезд такой-то...*» скажете: «*Пятое мая – это вторник, не правда ли?*», то кассирша вас, скорее всего, просто не поймет, она переспросит: «Что-что?» Она не настроена на такой вид информации. А вот и литератур-

ное подтверждение данной ситуации. В популярном кинофильме «Вокзал для двоих» интеллигент, отставший от поезда, в отчаянии заглядывает в окошко железнодорожной кассы:

«– Вот если бы вы назвали какую-нибудь счастливую станцию, я бы, пожалуй, купил туда билет и укатил на всю жизнь!

– От вас, алкашей, житья нету! – Кассирша оказалась существом прозаическим. – Может, тебе и стакан дать?»

Психологический настрой слушающего связан с теми стереотипами, которые существуют в его голове. Если наш собеседник – ребенок, мы будем ожидать от него одних речевых действий, если иностранец – других, если пожилой человек – третьих... Собеседник еще не раскрыл рот, а мы уже прогнозируем, что и о чем он может сказать.

Есть целый ряд доказательств тому, что слушающий «забегает вперед» того, что он слышит. В частности, он нередко перебивает говорящего, не дожидаясь конца фразы: ему и так все ясно. Пример из литературного произведения – «Театрального романа» Михаила Булгакова:

«Между слушателями произошел разговор, и, хотя они говорили по-русски, я ничего не понял, настолько он был загадочен...

– Осип Иваныч? – тихо спросил Ильчин, щурясь.

– Ни-ни, – отозвался Миша и вдруг затрясся в хохоте...

– Вообще старейшины... – начал Ильчин.

– Не думаю, – буркнул Миша».

Следствием «забегания вперед» может быть и неправильное понимание. По мнению психолога Ф. Кайнца, ошибки в восприятии возникают по большей части из-за активности слушающего. Поэтому, в частности, чтение является не простым восприятием текста, а как бы сотворчеством, совместным созданием. Но и в устной речи адресат стремится самостоятельно «додумать» мысль собеседника. Допустим, мы разговаривали в узком кругу о моей предстоящей поездке в Москву. И мой собеседник говорит:

«– А ты не боишься опоздать на п...»

Я, не дослушав и будучи уверен, что речь идет об опоздании на поезд, уже собираюсь ответить: «*Так я же не сегодня уезжаю!*», но слышу окончание фразы: *...опоздать на почту* – и понимаю, что речь идет совсем о другом: я же должен был сегодня отправить заказное письмо... Получается, обнаружив ошибку, слушающий должен вернуться назад и построить новую смысловую гипотезу. Это доказывает, что восприятие происходит **через понимание**, оно обусловлено пониманием.

Говоря о процессе восприятия текста, нужно особое внимание уделить многозначности формы. Это касается как явных омонимов, так и случаев полисемии. Если для говорящего на первый план выступает проблема синонимии (один и тот же смысл может быть выражен по-разному), то слушающий, так сказать, живет в мире омонимии. Ему постоянно нужно выбирать одно значение из нескольких возможных, и это активная работа. Допустим, мы встречаем в литературном произведении следующее высказывание:

«Зеленые реалисты держались в свете особняком».

Здесь каждое слово имеет не одно, а несколько значений. Толковый словарь дает: *Зеленый* – 1. Цвета травы, 2. Неопытный; *Реалист* – 1. Материалист, 2. Художник, объективно отражающий действительность, 3. Учащийся реального училища в России; *Держаться* – 1. Сохранять положение, ухватившись за что-либо, 2. Дорожить чем-либо, 3. Вести себя; *Свет* – 1. Лучистая энергия, 2. Источник освещения, 3. Мир, вселенная, 4. Высшее общество; *Особняк* – 1. Богатый дом для одной семьи, но 2. *Особняком* – ‘отдельно’ (*держаться особняком* – фразеологизм) и т. д. Это я привожу еще не все значения, которые дает толковый словарь: для упрощения я какие-то из них отсекаю. На каждом шаге восприятия слушающий должен выбрать одно из возможных значений. И если бы это был случайный выбор, то количество смысловых вариантов было бы огромным (перемножим: $2 \times 3 \times 3 \times 4 \times 2 \dots$). Но как только слушающий понимает, что речь идет о неопытных еще молодых людях, которые неловко чувствуют себя среди взрослых, его работа облегчается: начинает действовать правило семантического согласования, неподходящие значения отбрасываются. В каком-то смысле получается, что смысл формируется в голове у слушающего раньше, чем отдельные значения! Но этот тезис (кажущийся парадоксальным) заслуживает специального рассмотрения.

Если говорить об омонимии как главной проблеме слушающего, то она воплощается в постоянном выдвижении и проверке семантических гипотез: правильно ли мы понимаем то, что воспринимаем? Омонимия создает дополнительное напряжение в работе реципиента, но, как правило, оно устраняется (снимается) в ходе восприятия следующих элементов фразы. Такая омонимия (ее называют динамической) живет недолго, она неопасна.

Приведу в качестве иллюстрации начало одного рассказа Константина Паустовского. Этот пример, с соответствующим комментарием, приводит Ю. С. Степанов в книге «Основы языкозна-

ния» (М., 1966). По Степанову, слушающий может узнавать слово одновременно с его восприятием, или же позже, с восприятием следующего слова, или же для узнавания необходимо соотнести и предыдущие, и последующие слова. Наконец, случается, что слушающий думает, что он узнал слово, а оказывается, что он поторопился: узнавание ошибочное. Итак, медленно слушаем отрывок текста:

«Отца / Вани // Зубова // каждый // год // трясла / болотная // лихорадка //. Он // лежал // на полатях //, кашлял // и плакал /// от едкого / дыма //: в сенцах // курили //// трухлявое / дерево //, чтобы // выжить //// из избы // комаров» (одна черта означает узнавание слова, отстающее от его чувственного восприятия; две черты – узнавание, совпадающее с восприятием; три черты – для узнавания необходимо восприятие и предыдущих, и последующих слов; четыре черты – узнавание ошибочное, требующее переосмысления).

Итак, мы нередко «спотыкаемся» в процессе слушания или чтения текста, но поскольку, во-первых, на восприятие отдельной словоформы отводятся какие-то доли секунды, а во-вторых, методика «проб и ошибок» для нас привычна, то и подобные сбои мы стараемся не замечать.

Естественно, структура каждого языка (морфологическая оформленность классов слов, особенности словопорядка и т. п.) создает свои «подводные камни» для слушающего. В частности, немецкий лингвист Карл Боост еще в 50-е годы прошлого века выделял в немецком языке 4 типа внутреннего напряжения при восприятии предложения: они связаны главным образом с правилами размещения слов в немецком предложении (постановка личного глагола в конце придаточного предложения, разрыв между глаголом и отделяемой приставкой и т. п.). Прочитав: «Возникающее с первым словом текста напряжение разрешается лишь в конце фразы» (Boost K. Neue Untersuchungen zum Wesen und zur Struktur des deutschen Satzes. Der Satz als Spannungsfeld. Berlin, 1955). А Шарль Балли, известный французский лингвист (1865–1947), следующим образом подчеркивал достоинства своего родного языка: «Французский язык обладает еще тем преимуществом для общения, что является языком, ориентированным на слушателя..., и располагает знаки по ходу речи так, что облегчает понимание высказывания...» («Общая лингвистика и вопросы французского языка»).

В русском языке, надо признаться, имеются свои объективные помехи для деятельности реципиента (например, совпадение форм некоторых падежей в парадигме существительного, довольно свободный порядок слов, инфинитивные конструкции с зависимым дательным падежом и др.). Однако повторю: носитель языка привыкает к таким условиям и как бы не замечает их. Кроме того, не забудем, что ему помогают психологическая установка (нацеленность), контекст, семантическое согласование и т. п. В целом же восприятие текста – это напряженная деятельность.

Особенно интересны факты возврата адресата к уже воспринятым речевым фрагментам. Тексту свойственна линейность: здесь один элемент следует за другим, слушающий воспринимает слово за словом. Но, оказывается, он то и дело возвращается в своей памяти к уже «пройденным» словам. Эти возвраты легко зафиксировать экспериментальным путем, наблюдая за процессом чтения. Дело в том, что если проследить за работой зрачков, то глаза при чтении вовсе не движутся в одном направлении сукцессивно, последовательно, они бегают «туда-сюда», то забегая вперед, то возвращаясь к уже пройденному. Это позволяет охарактеризовать и в целом деятельность слушающего как **челночнообразную**: так сказать, два шага вперед, шаг назад... Такой способ перцепции соотносится с системой психологического анализа через синтез. Американские психологи Питер Линдсей и Дональд Норман (P. H. Lindsay & D. A. Norman) пишут:

«Анализ посредством синтеза – это такая система распознавания образов, которая [...] пытается превратить сенсорные данные в сообщение, согласующееся с тем, что нам известно об окружающем мире. Она непрерывно строит, проверяет и пересматривает гипотезы о том, что мы воспринимаем. Когда ожидания не оправдываются или контекст отсутствует, система работает медленно, полагаясь почти исключительно на сенсорные данные. Оперируя в знакомом и легко прогнозируемом мире, схема функционирует быстро и эффективно...» (Переработка информации у человека (Введение в психологию). М., 1974).

Другое доказательство активного характера деятельности слушающего – понимание целого текста **«в обход» конкретных слов**. Это значит, что отдельные слова могут быть слушающему не совсем ясны (или совсем неясны), и тем не менее он приходит к смыслу высказывания, догадывается о нем. Конечно, какие-то смысловые потери при этом неизбежны, и всё же, можно сказать,

коммуникация состоялась. Как это получается? Рассмотрим один пример: начало русской песни, ставшей поистине народной.

Славное море, священный Байкал,
Славный корабль, *омулевая бочка*,
Эй, *баргузин*, *пошевеливай вал*,
Молодцу плыть недалечко...

Люди, которые поют эту песню, чаще всего не знают, кто такой или что такое *баргузин*, про какой *вал* здесь говорится, и плохо понимают, что такое *омулевая бочка*. (Вообще-то *баргузин* – это северо-восточный ветер на Байкале, под *валом* имеется в виду волна, а *омулевая бочка* – это большая бочка из-под рыбы *омуля*; человек плывет на бочке!) Есть в песне и другие незнакомые слова. Но, несмотря на это, поющие улавливают общий смысл: ‘человек плывет по морю’ (или по Байкалу? Или Байкал и есть «море»?), ему нужно доплыть до берега. Данный смысл конструируется на основании знакомых, известных слов – их тут значительно больше. А незнакомые, «неопределеннозначные» (термин В. В. Мартынова) лексемы вынуждены, так или иначе, подстраиваться под формирующуюся общую смысловую картину.

Вот еще один пример, тоже широко известная русская песня, про рыбака Костю. И опять – в ней полно непонятных или полупонятных слов:

Шаланды, полные *кефали*,
В Одессу Костя привозил,
И все *биндюжники* вставали,
Когда в пивную он входил...

Шаланда – небольшое рыболовное судно; *кефаль* – рыба, которая когда-то водилась в Черном море, но почти перевелась; *биндюжник* – портовый грузчик или извозчик, перевозивший грузы на телеге. Но гордый образ Кости вырисовывается в песне независимо от того, насколько поющим знакомы эти слова. Тексты песен вообще – очень интересный объект для психолингвистических наблюдений. Писатель Леонид Пантелеев, вспоминая случаи того, как песня оглушает и искажает текст, резюмирует: «Такова – **власть песни**» («Приоткрытая дверь»).

Понимание целого в обход значения воспринимаемых слов – в общем, нередкое явление. И желание слушающего уловить общий смысл понятно, его «семантический прогноз» в таком случае должен опираться не только на известные ему слова, но и на не-

которую общую «картинку», схему. Может быть, это те типовые ситуации, о которых уже шла речь на прошлых лекциях?

Это вполне допустимая гипотеза. Во всяком случае, ее поддерживают некоторые лингвисты. Так, американский когнитивист Уолтер Кинч (W. Kintsch. *Memory and Cognition*. Malabar, 1982), изучавший механизмы человеческой памяти, считает, что понимание речи соотносится с системой пропозиций, существующей в голове у человека, а эти пропозиции устроены по принципу предикатно-актантных структур. То есть главную роль здесь играет уже знакомый нам предикат (в этой роли может выступать глагол, прилагательное, даже наречие или существительное), а от него зависит некоторое количество аргументов типа «субъект», «адресат», «инструмент» и т. п.

По сути, мы возвращаемся здесь к более широкой проблеме: какую роль играют в процессе восприятия и понимания текста синтаксические структуры – такие как модели предложения? И вообще имеет ли «прогнозирующая» деятельность слушающего лингвистический характер, опирается ли она на какие-то грамматические знания, или же это чисто психологический процесс нащупывания темы, сужения предмета разговора, уточнения интенции говорящего?

Напомню о статье американского лингвиста Хоккетта «Грамматика для слушающего», в которой утверждалось, что слушающий для того, чтобы получить искомый смысл, должен произвести синтаксический анализ предложения. Не может быть, процитирую, «чтобы слушающий мог сначала сообразить, о чем сказано в предложении, а затем, используя эту информацию о смысле предложения, наметить его грамматическую структуру».

В качестве иллюстрации приведу здесь довольно странный, но показательный текст. Современный поэт Александр Левин любит экспериментировать со стихом. Одно из его стихотворений начинается так:

За окном моим летали
Две веселые свистели.
Удалые щebetали
Куст сирени тормошили... и т. д.

Прочитав первую строку (*За окном моим летали...*), мы ожидаем в следующей появления подлежащего (*воробьи, ласточки, стрекозы* и т. п.). Но там появляется словоформа *свистели*, морфологически полностью аналогичная уже воспринятому *летали*.

Но ведь подлежащее-то во фразе должно быть! И слушающему (читателю) ничего не остается делать, кроме как принять за подлежащее именно словоформу *свистели*. Получается, что синтаксическая модель, заложенная в голове у реципиента, заставляет его придать словам *свистели* и *щебетали* в данном контексте предметную семантику, счесть их существительными – названиями птиц.

Особое внимание Хоккетт в упомянутой статье уделяет синтаксической омонимии, т. е. возможности по-разному представить себе структуру фразы. Дело в том, что омонимия иногда сохраняется и к концу восприятия фразы. Тогда она создает двусмысленность, т. е. чревата коммуникативными недоразумениями. Скажем, фразу *За шаг до постели больной Воробьев остановился и обвел взглядом палату* можно понять по крайней мере двояко: то ли с выделением связи *до постели больной*, то ли – *больной Воробьев*.

А вот и литературные примеры:

«На другой день **после разговора Пестеля в исполкоме Шебалино** посетила группа товарищей из района» (В. Пьецух. Восстание сентябристов; что здесь имеется в виду: *группа товарищей посетила Пестеля* или *посетила Шебалино?* и т. п.).

«Четыре раза не раздавалось никакого сигнала. Крупнейшие **специалисты** в стране **по телефону** тут же **объяснили** это досадное явление, которое не так уж редко случается» (А. Рубинов. Откровенный разговор в середине недели; *специалисты по телефону* или *объяснили по телефону?*).

«И была же, была Великая Империя, атели стяги в громе оркестров, чеканили шаг парадные коробки по брусчатым площадям, и **гордость державной мощью вздымалась** в гражданах! (М. Веллер. Легенды Невского проспекта; *гордость мощью* или *вздымалась мощью?*).

«Шведские охотники надевают на голову вместо меховых **шапок красного цвета шапочки** или кепки» («Комсомольская правда в Белоруссии». 6–12 августа 2009; *шапок красного цвета* или *шапочки красного цвета?*).

Иногда расстановка связей в высказывании ясна, понятно, какая словоформа от какой другой зависит, но сами эти связи (и актантная трактовка синтаксических позиций) могут быть истолкованы по-разному. Примеры:

«За мной стоит печаль моего одиночества, соленая мокрота холодной подушки, полуфабрикаты котлет – **готовить** все равно **некому**» (Братья Вайнеры. Женитьба Стратонова; ‘нет никого

(адресат), для кого бы стоило приготовить обед' или 'нет никого (субъект), кто бы смог приготовить обед'?)

«Меня удивляет, каким **сдержанным** – до сухости – стал **Иосиф Бродский в оценке Мандельштама**» (Ю. Нагибин. Голгофа Мандельштама; кто кого оценивал: Бродский Мандельштама или Мандельштам Бродского? Если не знать истории литературы, а руководствоваться только правилами русского языка, то оба варианта толкования возможны).

Часто смысловые различия, связанные с синтаксической неоднозначностью, невелики и не замечаются слушающим либо снимаются более широким контекстом. Но, тем не менее, они существуют и должны учитываться говорящим. Во всяком случае, они обнаруживаются компьютером при автоматическом анализе текста и, следовательно, должны предупреждаться соответствующими программами.

То, что предикатно-актантные структуры составляют для слушающего психическую реальность, подтверждается тем, как воспринимаются случаи нарушения, деструкции этих синтаксических моделей. Если какая-то из обязательных позиций (глагольных валентностей) остается незаполненной, лексически нереализованной, то это может производить результат, известный в психологии как «эффект обманутого ожидания». И, естественно, говорящий может сознательно к этому стремиться. Вот несколько иллюстраций:

«В жизни Лёвы Одоевцева [...] не случилось особых потрясений – она, в основном, **протекала**» (А. Битов. Пушкинский дом; обычно *протекает как? или где?*).

«А как называлась станция? – я никак не могу рассмотреть издали. Станция **называлась**» (С. Соколов. Школа для дураков; обычно *называется как?*).

«Варя сидела в углу темного, заплеванного сарая [...] и смертельно **боялась**» (Б. Акунин. Турецкий гамбит; обычно *бояться чего?*).

«А я говорю о вашей неправильной установке! Вы **стираете**, Федор Симеонович! Вы всячески **замазываете!**» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Понедельник начинается в субботу; обычно *стирать что?, замазывать что?*).

«Тамара тоже **придерживается** [...] Так что всё **упирается**» (Л. Петрушевская. Три девушки в голубом; обычно *придерживаться чего?, упираться во что?*).

Как мы видим, в данных примерах опущены, не названы разные участники ситуации, и во всех случаях восприятие слушающего как бы спотыкается о нереализованную валентность. У классика русской литературы абсурда, оберюта Даниила Хармса есть стихотворение «Случай на железной дороге», полностью основанное на этом приеме:

Как-то бабушка махнула,
и тотчас же паровоз
детям подал и сказал:
пейте кашу и сундук.
Утром дети шли назад.
Сели дети на забор
и сказали: вороной,
поработай, я не буду...

Если попытаться «восстановить» все опущенные слова (допустим, так: *Как-то бабушка махнула рукой, и тотчас же паровоз детям подал сигнал и сказал: пейте чай, ешьте кашу и не трогайте сундук...*), то текст становится грамматически правильным, но теряет свою эстетическую ценность. Понятно, что для художественного произведения недосказанность, «неопределенно-значность», семантическая размытость представляют собой скорее достоинство, чем недостаток. Как сказал в свое время великий английский писатель, символист Оскар Уайльд, «я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно».

На Берлинском международном кинофестивале в 2010 году один из главных призов получила картина молодого российского режиссера А. Попогребского «Как я **провел** этим летом». Понятно, что аграмматизм этого названия умышлен: вообще-то так по-русски сказать нельзя. Сказуемое *провести* требует наличия объекта (*провести лето* или же *провести*, т. е. ‘обмануть’, *кого-то летом*). И что же – после премьеры режиссер вынужден был оправдываться, пояснять, что он имел в виду.

Приведенные примеры убедительно показывают нам, что как при порождении текста, так и при его восприятии синтаксические модели взаимодействуют с лексико-семантическими группами слов: и у тех, и у других есть определенные «обязательства» по отношению друг к другу.

Если мы признаем, что понимание может наступить и при неполном восприятии (например, слушающий не дожидается конца фразы, или же он понимает ее смысл, несмотря на то что отдельные слова остались ему неизвестны), то надо сказать и о той

ситуации, когда **восприятие происходит без понимания**. Самый простой и неинтересный для нас случай – восприятие текста на незнакомом языке. В таком тексте слушающему даже трудно выделить отдельные слова, этот текст нечленоразделен. Но бывает, что реципиент улавливает некоторую часть смысла, его поверхностную составляющую. Например, он может понять, что перед ним – текст научный, или старинный (древний), или на инославянском языке, или на английском... Слушающий может, не понимая смысла, догадаться, что говорящий выражает свое недовольство или, наоборот, симпатию (вспомним пример *Утики-путики сяся...* как выражение любовного заигрывания) и т. п.

Известный американский логик Джон Сёрль воссоздает такую гипотетическую ситуацию в статье «Что такое речевой акт?» (сб. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. М., 1986). Американский солдат во время Второй мировой войны попадает в плен к итальянцам. Он хочет выдать себя за немецкого офицера в надежде, что итальянцы не понимают по-немецки. Но и сам он помнит только одну строку из стихотворения, которое учил в средней школе: *Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen...* (это из «Вильгельма Мейстера» Гёте, в переводе Бориса Пастернака: *Ты знаешь край лимонных рощ в цвету...*). С помощью этой строки, возможно, солдату удастся перехитрить итальянцев, которые в данном случае воспринимают без понимания.

Еще один пример. В рассказе Фазиля Искандера «Мой первый школьный день» мальчика не принимают в школу, потому что ему еще мало лет. И мальчик, сидя на веранде школы, начинает громко читать вслух.

«Это был какой-то хрестоматийный учебник для второго или третьего класса с небольшими отрывками из классических рассказов и повестей. Я стал **громко читать эти отрывки исключительно для того, чтобы обратить внимание учителей на беглость своего чтения**. Замысел был такой. Они обращают внимание на беглость моего чтения. Они интересуются, почему я читаю здесь, на полуоткрытой веранде, а не в классе. Узнают, что я не только еще не учусь, но меня и не принимают в школу. Шумной делегацией входят к директору, и меня определяют в первый класс».

Понятно, что в данном случае совершенно не играет роли, что именно читает мальчик. Более того, он сам, скорее всего, и не понимает всего, что он читает. Чтение тут носит исключительно демонстрационную цель: показать, что мальчик **умеет читать** – для потенциальных слушателей этого достаточно.

Мы видим, что процесс восприятия/понимания обуславливается самой личностью слушающего, его опытом. Если правда то, что «каждый слышит лишь то, что понимает» (это слова римского драматурга Плавта, жившего в III в. до н. э.), то совершенно справедливой выглядит рекомендация: «Говори только то, что может понять твой собеседник». Говорящий должен учитывать возраст слушающего, его интеллектуальный уровень, темперамент, даже пол (гендер), свой предыдущий опыт общения со слушающим, его языковую компетенцию, возможную реакцию и т. п. С разными людьми в разной обстановке мы будем говорить по-разному. Об этом хорошо писал замечательный русский лингвист Евгений Дмитриевич Поливанов (1891–1938):

«...В сущности, всё, что мы говорим, нуждается в слушателе, понимающем, «в чем дело». Если бы всё, что мы желаем высказать, заключалось бы в формальных значениях употребленных нами слов, нам нужно было бы употреблять для высказывания каждой отдельной мысли гораздо более слов, чем это делается в действительности. Мы говорим только необходимыми намеками; раз они вызывают в слушателе нужную нам мысль, цель достигается; и говорить иначе было бы безрассудной расточительностью» («Статьи по общему языкознанию». М., 1968).

СЛОЖНЫЙ ХАРАКТЕР РЕЧЕПРОИЗВОДСТВА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ ЯЗЫКА В ПРОЦЕССАХ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Если задаться вопросом, что влияет на формирование высказывания, на выбор говорящим конкретных единиц, то одним словом можно ответить – всё. Действительно, сама референтная ситуация, интенция говорящего, представление о речевом опыте слушающего, обстановка общения (стиль, контекст, время, которым располагают собеседники), предыдущие высказывания, наконец, структура конкретного языка – всё это по-своему участвует в создании текста!

В данной лекции речь пойдет более всего о том, как в ходе речевой деятельности взаимодействуют между собой разные элементы языковой системы. Дело в том, что в этом процессе практически одновременно (симультанно) и параллельно принимают участие многие значения, выражаемые единицами лексического, синтаксического, морфемного, даже фонемного уровней. Уже упоминавшийся ранее В. Г. Адмони в 60-е годы XX века писал о том, что речевая цепь строится по принципу **партитуры**. Это сравнение с музыкальным многоголосием не случайно: в речевой деятельности участвуют единицы разных уровней, которые «кооперируют» свои усилия. Я уже говорил о том, что высказывания должны строиться в соответствии с синтаксическими моделями (структурными схемами), отражающими типовые ситуации, что употребление слов в идеале должно соответствовать их стандартным (изосемическим) ролям и т. д. Но это – в идеале. А на практике высказывания вроде *Мама мыла раму, Папа купил телевизор, Дул ветер* – не такой уж частый случай. Речевая практика дает нам множество примеров отступлений, отклонений от этих идеальных правил – именно потому, что механизмы речевой деятельности очень сложны, и элементы языка связаны друг с другом многочисленными и многомерными (разнонаправленными) связями.

Обратим вначале внимание на взаимоотношения целого высказывания и словоформы, занимающей конкретную синтаксическую

позицию. Словоформа – элемент высказывания, его составная часть. Но свобода выбора говорящего, творческий характер его деятельности и проявляется в том, что он может вообще не употребить данную словоформу или же, наоборот, употребить ее вне целой структуры – благо у нее есть самостоятельное значение.

Если, предположим, человек много раз в своей жизни встречал высказывания с изолированным родительным падежом, типа *Воды! Хлеба! Тишины! Денег!*, то ему ничего не стоит образовать, допустим, и высказывание *Соды!* – независимо от того, что имеется в виду: *Дайте соды, Прошу соды, Выпей соды, Хочу соды, Возьми соды, Принеси соды* и т. п. Литературный пример:

«– Чего не спишь? – спросил Ханин. – Чего, мужик, ворочаешься? Пирога переел?

– Вот именно, – сказал Лапшин, – пирога.

– Ну *соды!* – посоветовал Ханин» (Ю. Герман. Лапшин).

Еще пример из поэтической речи.

А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб:
– **Читателя! советчика! врача!**
На лестнице колючей **разговора б!**

*О. Мандельштам. Куда мне деться
в этом январе?*

И здесь мы можем только предполагать, от какого предиката могли бы зависеть словоформы *читателя, советчика, врача, разговора*: от *хотеть, ждать, звать* или еще каких-то? Эти формы достаточно автономны.

Академическая «Русская грамматика» (Грамматика-80) выделяет высказывания типа *Чаю!* или *Врача!* в отдельный структурный тип предложений с семантикой «желаемого или требуемого существования [...] предмета или состояния», мотивируя это тем, что словоформа родительного или винительного падежа в данной ситуации и не требует восполнения никаким предикатом. По сути же это «обломок» **синтаксической модели**, стремящийся к коммуникативной самодостаточности.

Добавлю, что подобные «сепаратистские» тенденции присущи в русском языке не только формам родительного или винительного падежа. И именительный, и творительный, и даже дательный падежи – все они имеют как бы право на самостоятельное употребление, потому что за каждым из них стоит свой синтаксический смысл. Попробую его выделить и определить с помощью используемых сегодня в семантическом синтаксисе терминов.

Итак, основные значения русских падежей, взятых в отрыве от сочетающихся с ними других форм, таковы:

ИП: *Весна. Дождь. Столовая. Гость. Отцы и дети* (демонстратив).

РП: *Воды. Пива. Огня. Хлеба и зрелищ* (дезиратив).

ДП: *Читателю. Другу. Петру. Городу и миру* (адресат).

ВП: *Машину. Милицию. Карту. Руку и сердце* (объект).

ТП: *Веслом. Карандашом. Поездом. Огнем и мечом* (инструмент).

С предложным падежом дело обстоит несколько сложнее, потому что за ним фактически стоят два значения: локатив (*В лесах. На балу*) и делибератив (*О лесах. О жизни*).

Г. А. Золотова составила на материале русского языка справочное издание нового типа – «Синтаксический словарь», с подзаголовком «Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса» (М., 1988). В этой книге каждый падеж (как без предлогов, так и с предлогами) описывается с точки зрения его функциональной нагрузки. Конечно, у одной и той же падежной формы может быть несколько весьма различных значений. Но всё же какое-то из них оказывается наиболее «репрезентативным» – оно-то и связывается с возможностью самостоятельного употребления; по Золотовой – выступает в качестве свободной синтаксемы.

Вместе с тем обратим внимание на то, что каждая семантическая функция обусловлена определенным лексическим кругом. Так, мы легко скажем: *Воды! Шампанского! Чаю! Хлеба и зрелищ!*, но довольно странно выглядели бы генитивные формы в самостоятельном употреблении: *Одежды! Спокойствия и сна! Ответа! Конституции!* и т. п. Точно так же на фоне естественных форм винительного падежа *Сестру! Милицию! Карету! Лошадей!* царапают глаз примеры *Тучу! Покупателя! Коров! Прогулку!* – они структурно явно недостаточны. Это еще раз подтверждает, что между грамматикой и лексикой существует внутренняя связь, взаимообусловленность. (Напомню слова Караулова: «Грамматика вся сплошь лексикализована, привязана к отдельным лексемам...».)

В ситуации разговорной речи изолированная падежная форма легко «прилепляется», присоединяется к другой, грамматически с нею не связанной, ср.:

«Кривоногий местный тракторист с локонами вокзальной шлюхи был окружен назойливыми румяными поклонницами.

– *Умираю пива!* – вяло говорил он.

И девушки бежали за пивом» (С. Довлатов. Заповедник).

Это умираю пива означает примерно следующее: ‘я просто умираю от жажды – так сильно хочу выпить пива’ или же ‘я так хочу пить,

что почти умираю, и наверняка умру, если мне тотчас не дадут пива'. Такое «восстановление» полного смысла, конечно, представляет интерес для лингвиста, но оно совершенно не нужно для носителя языка.

Полноценное функционирование «обломков» целых синтаксических структур – это одно из проявлений сложного характера речепорождения. Другое его проявление – **аграмматизм**, свойственный некоторым видам текстов. Точнее сказать, это особый, нефлективный способ организации текста.

Лингвисты давно отмечают процесс «обесценивания флексии» в русском языке и связывают его с переходом от одной синтаксической системы к другой: от «органической», или синтагматической, к «неорганической», или аналитической. (Последняя характерна для того типа художественной прозы, который называют актуализирующим.) Прочитую петербургского профессора Галину Николаевну Акимову:

«...В синтаксисе тенденция к аналитизму приводит к расчлененности высказывания, ослабленности синтагматических связей, сжатию и опрощению синтаксических конструкций» (Акимова Г. Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. М., 1990).

Конечно, это результат влияния разговорной стихии, в которой царствуют такие явления, как именная тема, парцелляция, вставные конструкции, примыкание и т. п. Вместо иерархической системной организации высказывания мы получаем фрагментарную, рассыпчатую и в каком-то смысле случайную структуру типа «набора слов». Вот один реальный пример – отрывок из записей устной беседы (из уже не раз цитировавшейся книги «Русская разговорная речь. Тексты»). Две женщины в домашней обстановке разговаривают о попугаях:

«Ну ничего... Ниче... (смех) Ладно... Еще к слову может придется... Действительно... могут... может они будут нам мешать / тогда... А посадить их обратно в клетку легко за... м-м... вернуть? Или нет?»

Кажущаяся бессвязность речи здесь вполне компенсируется обстановкой: духовной близостью собеседников, знакомством их с предметом речи, мимикой и жестиком. Но нас интересуют сейчас собственно языковые показатели организации текста. Их их явно меньше, чем должно было бы быть.

Своего рода аграмматизм, отказ от целостной организации высказывания проявляется и в активизации двучленных сочетаний типа *Из огня да в полымя, С бору по сосенке, Руки в боки, Руки вверх, Ни в зуб ногой, С песней в дорогу, Судью на мыло, Горе от ума, В грудь навывлет, Привет родителям, Подарок в*

студию и т. п. Они образуются без всякого участия глагола, а коммуникативная их самодостаточность очевидна: это поговорки, присказки, лозунги, заглавия и тому подобные мини-тексты. Ю. Н. Караулов в своей «Ассоциативной грамматике» посвящает целую главу «синтаксическим примитивам», т. е. соединениям двух слов, целостно воспроизводимым в ассоциативно-вербальной сети. Наши «биномы» вполне подходят под это определение.

Очень любопытна традиция называния художественного произведения по его первой строке или даже по первым словам (не составляющим синтаксического целого). Так, в концертных программах нередко объявляют: «Исполняется старинный романс *“Я помню вальса...”*» (а далее должно было бы быть: ...звук прелестный) или: «Романс Римского-Корсакова *“Редеет облаков...”*» (а далее должно было бы быть... вечерняя гряда) и т. п. Понятно, что *редеет облаков* никак не может быть предложением, но особая функция – название произведения – делает сочетание слов коммуникативным эрзацем, «чем-то вроде предложения».

Структурная «рассыпчатость» разговорной речи обыгрывается и писателями. Вот пример из пьесы Людмилы Петрушевской «Чинзано»:

В а л я. Ты что, здесь не живёшь?

П а ш а. Временно.

В а л я. Временно живёшь или временно нет?

К о с т я. Сегодня здесь, и всё.

В а л я. А вообще где?

П а ш а. Сейчас ещё нигде пока уже опять».

Еще два примера из современной прозы:

«Новый ротный зверь пришел. А к вам мы всей душой» (Э. Хруцкий. Пролог).

«Они услышали и налили мне полный стакан из-под коктейля водки из кармана» (М. Веллер. Забытая погребушка).

Вообще же абсолютизация структурных особенностей разговорной речи в художественной литературе происходит под видом так называемого телеграфного стиля. Телеграфный стиль в литературе используется как имитация мыслительного процесса, как попытка отразить внутреннюю речь, с ее ассоциативно-произвольным характером.

В качестве примера сначала приведу отрывок из дневниковых записей Марины Цветаевой, великой русской поэтессы с трагической судьбой:

«Мой день: встаю – верхнее окно еле сереет – холод – лужи – пыль от пилы – вёдра – кувшины – тряпки – везде детские платья

и рубашки. Пилю. Топлю. Мою в ледяной воде картошку. <...> Потом уборка... потом стирка, мытье посуды, <...> **полоскательница** и кустарный кувшинчик без ручки “для детского сада”».

Теперь два примера телеграфного стиля из художественной литературы.

Первый: Саша Соколов. «Школа для дураков»:

«...она вся старая страшная я не хочу быть старухой милый нет не хочу я знаю я скоро умру на рельсах я я мне больно мне будет больно отпустите когда умру отпустите эти колёса в мазуте ваши ладони в чем ваши ладони разве это перчатки я сказала неправду я Вета чистая белая ветка цвету не имеете права я обитаю в садах не кричите я не кричу это кричит встречный...»

Второй: Евгений Попов. «Мастер Хаос»:

«Вот именно что. Ветер. День. Еще вчера бестрепетный и тусклый. Жара купания. Сегодня ветер. Ревет и стонет. Волны в море льдины. Как льдины. Барашки белые на ультрамариновом, как льдины. Это образ. Художественный образ. Образы не Образа. Это ветер ветку клонит. Ветка лопается. Звук хруста. Бом-м-м. Ударил колокол. Волна накатывает. Брызги влево. Брызги вправо. Брызги вверх. Волна вниз. Ветра ком. Ком ветра в глотку. Ком вон. Ком цурюк. Тент полосатый. Изгиб гриба обратно...»

Как мы видим, способы графического оформления такой речи могут быть разные (со знаками препинания и прописными буквами или без таковых), но общим остается ассоциативная «покадровость» изложения, внешняя бессвязность текста и недостаточное использование грамматических (морфологических) форм.

Свобода говорящего в создании высказывания проявляется также в том, что он может в любом месте его прервать. Говорящего могут перебить, т. е. помешать ему закончить высказывание, но он может и сам не довести фразу до конца. О структурной неполноте (незаполнении обязательных позиций) уже шла речь применительно к процессу восприятия высказывания. Здесь я только приведу еще один пример, чтобы напомнить о том, что для говорящего это может быть приемом, нацеленным на определенный эстетический и идейный эффект:

«Супруга говорила, что **Мы должны вместе, Нам нужно со-обща, Мы должны их**» (А. Зиновьев. Зияющие высоты).

Но обрыв высказывания может приходиться и на середину слова. Если эта ситуация отражается в художественном произведении, то часть слова, уже появившаяся «на выходе», должна быть достаточна для опознания всего слова. В этом – внутренняя

связь единиц лексического и фонемного уровней. Покажу это на двух примерах из прозы Михаила Булгакова.

«– **Как фа...**

Коротков не успел спросить» («Дьяволиада»; имеется в виду: *Как фамилия?*).

«– Где регистрировались, уважаемый железнодорожник? – подчёркнуто сухо осведомилось начальство.

– Да я ж... **Я не регистри...** Я ж докладываю: **в факти...**

– Ну, видишь ли, друг, у тебя тогда не жена, а содержанка» («Развратник»; *не регистри...* – не законченное *не регистрировался*; *в факти...* – имеется в виду: *в фактическом браке*).

Нередко в ходе производства высказывания происходят сложные, многообразные **трансформации его внутренней структуры**. Это значит – связи между одними элементами нарушаются, а между другими – возникают, какие-то слова исчезают, опускаются, а какие-то – занимают «не свои» позиции... Эти преобразования, происходящие во внутренней речи, непросто эксплицировать и трудно смоделировать, однако для самого слушающего восстановление исходной структуры не составляет большого труда. Приведу сначала два примера из разговорной (обиходной) речи.

Несколько человек стоят на остановке маршрутного такси («маршрутки»). Подходит микроавтобус, но не все пассажиры умецаются в него. И одна женщина просит водителя:

«– А можно я стоя?»

А другая ей отвечает, кивая на шофера:

«– **Ему нельзя стоя**».

Это значит: ‘ему (шоферу) нельзя, чтобы кто-то из пассажиров ехал стоя’. И собеседницы вполне понимают друг друга!

Второй пример. В московском метро стоит инвалид с табличкой: «**Помогите на протез**». Это значит: ‘помогите собрать деньги, чтобы купить протез’. И опять: сложная мысль обретает компактную, сжатую форму.

А теперь – несколько иллюстраций из современной художественной литературы.

«– **С ума сойти, как говорит**, – сказал тот, что был с палкой.

– Наверное, из тех, что в радио говорят, – сказал тот, что был с посохом» (Ф. Искандер. Созвездие Козлотура). Здесь *с ума сойти, как говорит* означает ‘можно сойти с ума от восхищения перед тем, как хорошо этот человек говорит’.

«...Сегодня, стоя у окна и глядя во двор, она авторитетно произносит: «Ноль-три приехала, кого повезут, **сестра из вены**». Поначалу я

озадачен. У кого бы это могла быть сестра в Вене? Потом догадываюсь. Смысл высказывания следующий: приехала за кем-то, неизвестно за кем, машина «скорой помощи», из нее вышли люди с носилками, с ними медицинская сестра, та, которая в поликлинике берет на анализ кровь из вены» (И. Грекова. Кафедра). Слушающий сначала «озадачен», он не понимает, о чем идет речь, но потом все же догадывается...

«– Нюра! Последний раз объясняю: дай **десятку в пинжаке!**» (М. Мишин. Ступеньки). *Дай десятку в пинжаке* значит ‘дай десять рублей, которые лежат в кармане пиджака’.

Очевидно, что структурная перестройка, которая происходит в данных случаях во внутренней речи, очень разнообразна. В каждом случае преобразования затрагивают интересы синтаксиса, морфологии, лексики. Добавлю, что есть авторы, для которых преобразование синтаксической структуры переходит в самоцельное жонглирование словами и становится частью их эстетической программы. Вот один весьма показательный пример – начало стихотворения Генриха Сапгира «Дерево над оврагом»:

Над оврагом небо падает <http://www.slo.ru/>
дерево ящером в снегу изогнулось
серый снег падает в небо
изогнулось небо серым ящером
дерево падает ящером в снег
овраг изогнулся серым ящером
ящер изогнулся оврагом... и т. д.

Но возникает очень важный вопрос: если все эти семантические сдвиги, синтаксические смещения, стяжения каждый раз индивидуальны, то как же слушающий, причем не лингвист, а обычный, лингвистически не подкованный носитель языка, понимает говорящего?

На этот вопрос может быть два ответа.

Первый. Все эти преобразования не так уж индивидуальны, не так уж непредсказуемы. За ними стоят скрытые образцы, но они имеют эксплицитные признаки. Вот конкретный пример. Русские предлоги *в* и *на* в локативном значении управляют обычно формой предложного падежа: *дом на площади, работать в библиотеке* и т. п. Если же они в разговорной речи оказываются связанными с родительным падежом: *дом на Восстания, мост на Декабристов, учиться в Герцена, выходить на Пушкина* и т. п., то это верный признак того, что данная конструкция «съела», поглотила слова типа *улица, площадь, институт, академия* и т. п. Литературные примеры:

«Сквозь молочный пар изморози едва виднелся высотный **дом на Восстания**» (Л. Бежин. Метро «Тургеневская»).

«Как-то принялся расспрашивать: а как называется мост, а кто построил вон тот особняк и вон тот? Ответов не давали. **Мост на Декабристов**, да и всё» (В. Цыганов. Мой Екатеринбург).

Еще один случай. С античных времен известна такая фигура речи, как гипаллага: перенос эпитета на другое слово (т. е. «не в свою позицию»). Она, эта фигура, кажется настолько естественной, что может вообще не замечаться читателем, ср.: вместо вязкою тминных баранок

Вихрь берётся трясть впотьмах
Тминной вязкою баранок.

Б. Пастернак. Зимнее утро

«Среди их высушенных кофейных лиц лицо его выделялось **розовой независимостью**» (Ф. Искандер. Летним днем; вместо *розовое лицо*).

«**Поздний вагон** метро. Двери закрываются, вагон трогается и въезжает в туннель» (В. Шендерович. Инцидент; вместо *вагон метро в позднее [время]*).

Примеры подобного рода «нерегулярностей» оказываются, в конце концов, регулярны! Это заставляет нас вспомнить уже приводившуюся мысль В. Г. Адмони: за самыми фрагментарными, алогичными, «неправильными» высказываниями все же стоят определенные структурные образцы. Адмони, кстати, подробно анализировал работу немецкого исследователя Р. Рата, основанную на записях разговорной речи – и там, в глубине, казалось бы, хаотичной и «аграмматичной» спонтанной немецкой речи, тоже просматривались четкие структурные схемы предложений.

Второй ответ на поставленный выше вопрос. Языковое сознание очень гибко. При восприятии и переработке информации оно способно к аппроксимации, к операциям с нечеткими множествами, к принятию приблизительных решений. Скажем, если глаз встречает в тексте какое-то необычное, непонятное выражение, то сознание пытается отыскать ему хоть какие-то соответствия в мире референтов и использует для этого все ресурсы языка.

Так, в пьесе Василия Шукшина мы сталкиваемся со следующей фразой. Один мужчина говорит другому (с которым они накануне пьянствовали):

«**Моя швабра накатала на нас телегу**» (В. Шукшин. Энергичные люди).

Первичный анализ высказывания не дает нам положительных результатов. *Швабра* не может «катать», тем более *телегу*. Нашему сознанию, конечно, помогает контекст, в том числе языковой. О ком

мужчина может сказать «моя»? Например, о жене. А у слова *швабра* как раз есть переносное значение ‘некрасивая, неопрятная женщина’ (пейоративно). У слова *телега* в разговорной речи есть значение ‘жалоба’, особенно хорошо сочетающееся с глаголом *накатать* в значении ‘написать’ (тоже разговорном). В результате мы выходим на значение, хорошо согласующееся с контекстом: жена говорящего недовольна поведением этих мужчин и написала на них жалобу!

В сложных речевых ситуациях сознание перебирает все возможности синтаксических преобразований и обращается к уже апробированным образцам поверхностно-синтаксических конструкций. Очень показательны в этом отношении конструкции, содержащие так называемый **хиазм**, или **перевертыш**. Это значит – некоторые слова в высказывании меняются своими синтаксическими позициями. А точнее, наоборот – синтаксические позиции обмениваются предназначенными для них словами. В частности, можно сказать *Ехал мужик мимо деревни* – это совершенно естественная, банальная ситуация. Но можно попробовать «перевернуть» отношения между актантами – и тогда мы получим *Ехала деревня мимо мужика*. Это начало русской народной потешки:

Ехала деревня мимо мужика,
Глядь – из-под собаки лают ворота...

Данный прием широко используется в художественной литературе и публицистике (хотя корнями своими он уходит в фольклор и разговорную речь). Но в разных языках он по-своему ограничен возможностями словоизменения, словообразования и порядка слов. Французский философ и экономист Пьер Жозеф Прудон опубликовал в 1846 году книгу под названием «*Philosophie de la misère*», т. е. «Философия нищеты». В ответ Карл Маркс написал книгу, которая по-французски называлась «*Misère de la philosophie*», т. е. «Нищета философии», – это типичное использование хиазма как приема.

Теперь примеры из русского материала:

Поглядишь: хандра всё любит,
А любовь всегда хандрит.

П. Вяземский. Хандра

Право силы исключает **силу права** (современный афоризм).

Лечиться даром – это **даром лечиться** (еще один народный афоризм). Изящество этого хиазма заключается в том, что первый раз слово *даром* употреблено в значении ‘бесплатно’, а второй – в значении ‘напрасно’.

Не всегда хиазм воспринимается так легко. Иногда он требует определенных мыслительных усилий. Это связано, в частности, с тем, что слово может быть употреблено в изосемической и неизосемической функции (об этом шла речь ранее), ср.: *Собака вертит хвостом* и *Хвост вертит собакой* (поговорка). Если оставить в тексте только вторую, «трансформированную» часть такого хиазма, то это неизбежно требует мысленного возврата к первой, исходной части – даже если она в речи опущена. Литературные иллюстрации:

«Кондрат всегда говорил, что писателя делает скандал. Чем громче орут газеты, тем больше тираж» (Д. Донцова. Гадюка в сиропе).

«Золотой осел. Буриданов осел. Уши машут ослом» (М. Шишкин. Венерин волос).

Популярность и «легкость» перевертышей показывают нам, как синтаксические модели начинают работать «за своих создателей», за людей, подсказывая носителю языка автоматизированные пути создания текста. Получается, что у поверхностного синтаксиса есть «свои» модели, и говорящий в ходе реализации внутренней программы высказывания и саморедактирования не может их не учитывать.

Участие собственно языковых факторов в процессе порождения текста можно продемонстрировать и на других примерах. В частности, наличие в составе высказывания какой-то словоформы может влиять на выбор говорящим другой словоформы, соседней с первой. Допустим, мы читаем в рецензии о том, что «переводчик хорошо владеет языком оригинала». Это нормальное русское высказывание. Но если говорящий захотел бы сказать *о степени владения переводчиком языком оригинала*, то чувство стиля, возможно, остановило бы его перо. Потому что рядом оказываются два творительных падежа: *переводчиком* и *языком*, а это не очень хорошо.

Теперь иллюстрация более причудливая, но, тем не менее, реальная. Предположим, поэт слышит звуки волынки и хочет сравнить их с чем-то близким читателю. Он находит подходящее сравнение: это плач ребенка. И можно по-русски построить конструкцию с зависимым родительным падежом: *плач волынки*, точно так же, как *плач ребенка*. Но нельзя сказать с двумя родительными падежами: «плач ребенка волынки». Из этого положения можно выйти таким способом: *волынки детский плач*. Что мы и читаем:

Волынки детский плач. Печаль полуная.
Двухспальная железная кровать...

И все-таки тут же, преодолевая очевидное сопротивление русского языка, поэт пытается сформировать запретную конструкцию с двумя равнозависимыми родительными падежами, а именно: «плач овцы волынки»:

Волынки плач овцы. Грамматика двойная.

И ангелов нытье и визготня...

Ю. Казарин. Волынки плач овцы

Если в последнее время объектом нашего внимания были подчинительные конструкции, то справедливости ради следует хотя бы кратко сказать и о конструкциях сочинительных.

Сочинительные ряды, распространяющие структурную основу высказывания в ином измерении – не «вглубь», а «вширь», в принципе могут быть бесконечно длинными, и это известное выразительное средство в арсенале художников слова. Но меня сейчас интересует другая особенность сочинительной связи. Между словами, связанными союзами *и, да, а, но* и т. п., действует опять-таки своего рода семантическое согласование (тут оно называется семантической однородностью). Эти слова должны относиться к одной тематической сфере и характеризоваться одинаковым уровнем обобщения. Понятно, что сочетания вроде *день и ночь, сад и огород, краски и карандаши, стихи и проза, потребности и возможности, пальто и шляпа* выглядят вполне естественными, а какие-нибудь *огород и потребности* или *пальто и проза* режут глаз. По воспоминаниям современников, один из обериутов, Игорь Бахтерев, выступал на литературных вечерах с номером «Вилки и стихи». Уже само название должно было привлекать слушателей...

В соответствии с только что сказанным, сочинительная связь помогает понять значение слова через значение его партнера. Допустим, если мы встречаем высказывание *Купи газеты и талоны на проезд*, то слово *газеты* понимаем одним образом: это периодическое издание. А если читаем информацию о покупке *газет и заводов* – то значение совсем другое; речь тогда идет об издательствах, например:

«Ты можешь покупать **заводы, газеты, политические партии**, проводить или блокировать законы, но не волен распоряжаться своим временем» (А. Константинов. Мусорщик).

В следующем примере сочинительный ряд позволяет правильно понять значение глагола *буксировать* (это то, что позже стало называться *крутить динамо*):

«**Волочиться, кокетничать, буксировать** рано вошло в ее бюджет, но по-настоящему она открыла запруды в пестрые дни гражданской войны...» (В. Иванов. У).

Получается, что сочинительная связь облегчает слушающему путь к реконструкции замысла говорящего! А в следующем контексте говорящий сознательно сталкивает семантически неоднородные понятия при общем для них определении и предлагает читателю дополнительную интеллектуальную работу, приносящую, впрочем, и эстетическое удовлетворение:

«Он весь там, где **пайки и чувства скудные, деньги и слова казенные, стрижки и мысли короткие, штаны и раны рваные, нитки и женщины суровые, мятежи и желания подавленные, дороги и собрания долгие, кони и расправы быстрые**» (П. Вайль. Карта Родины).

Наконец, сочинительная связь позволяет активизировать словообразовательные процессы в сознании говорящего и слушающего. В частности, если в какой-то момент речепорождения возникают затруднения с образованием того или иного слова, то можно создать окказионализм и «поддержать» его с помощью сочинительного ряда. В нем знакомое слово будет как бы разъяснять новое, не вполне понятное. Получается, что сочинительная связь, если использовать политический термин, по-своему «лоббирует» образование окказионализмов. Несколько иллюстраций.

«...Это то место, куда швыряют, так уж и быть, **обноски, обрезки, объедки, опивки, очистки, ошметки, обмылки, обмусолки, очитки, овидки, ослышки и обмыслевки**» (Т. Толстая. Лимпопо).

Нет, в нашем **безрыбье, безмясье** и вообще в **бестоварье** пока рановато начинать бороться с гиподинамией, потребительством, с разлагающим нравы вещизмом» (А. Рубинов. Откровенный разговор в середине недели).

«День рождения детей Евгения Швидлера [...] обеспечил **съезд и спływ** олигархов в порт de Beaulieu» («Известия», 26 августа 2008).

Окказионализмы *обмусолки, овидки, обмыслевки, безмясье, спływ* в приведенных контекстах получают право на жизнь в значительной степени благодаря поддержке своих соседей по сочинительным рядам.

Сказанное касается и образования грамматических форм. У Пушкина в «Евгении Онегине» читаем: *Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке*. В кушаке вообще-то не сидят, кушаком подпоясываются. Но расположенная по соседству словоформа

в *тулупе* «разрешает» создать не вполне правильное сочетание предлога с существительным в *кушаке*. А вот и свежий пример:

«Из левого кармана бережно извлекает потертую долларовую банкноту, из правого – разворачивает местную бумажку величиной в скатерть и **расцветкой в павлина**» (М. Веллер. Легенды Невского проспекта).

Выражение *расцветкой в павлина* здесь появилось, скорее всего, благодаря поддержке со стороны словосочетания *величиной в скатерть* (в других условиях писатель, наверное, написал бы «расцветкой как у павлина», или «с расцветкой павлина», или еще как-то).

Рассуждая о правилах речепорождения и речевосприятия, нужно сделать оговорку, касающуюся жанрово-стилевой обусловленности текста. Вот, например, я только что приводил цитату из романа Всеволода Иванова с лаконичным названием «У» – короче не придумаешь. Понятно, что это особый случай. Но и заглавия типа «Как закалялась сталь» или «Похороните меня под плинтусом» невозможны в технической или юридической литературе. Своеобразие стилей и жанров речи проявляется, конечно, не только в заглавиях – это касается текста как такового. Обобщая данную проблему, можно сказать, что процессы речевой деятельности в значительной степени обусловлены степенью речевой свободы говорящего и слушающего.

Конечно, не все факторы, участвующие в процессе речепорождения, были рассмотрены в данных лекциях. В частности, мы почти не касались участия словообразовательных моделей. А ведь важно знать, как сочетается в деятельности говорящего использование готовых слов и «сиюминутное» создание новых. Особый интерес вызывает взаимодействие лексики и фонетики, в частности, проблема тавтологии: насколько разрешено или, наоборот, запрещено в речи употреблять рядом формально схожие или родственные слова?.. Мало внимания уделялось в лекциях и вхождению высказывания в более широкий контекст: это отдельная и очень важная проблематика. Но даже на том ограниченном материале, которым мы располагали, можно было убедиться, что процессы речевой деятельности чрезвычайно сложны и интересны.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ахутина, Т. В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса / Т. В. Ахутина. М., 1989.

Белоусов, К. И. Введение в экспериментальную лингвистику: учеб. пособие / К. И. Белоусов, Н. А. Блазнова. М., 2005.

Винокур, Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения / Т. Г. Винокур. 3-е изд. М., 1997.

Выготский, Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. М., 1996.

Гаспаров, Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования / Б. М. Гаспаров. М., 1966.

Горелов, И. Н. Избранные труды по психолингвистике / И. Н. Горелов. М., 2003.

Горелов, И. Н. Основы психолингвистики / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. М., 1997.

Дементьев, В. В. Непрямая коммуникация / В. В. Дементьев. М., 2006.

Жинкин, Н. И. Речь как проводник информации / Н. И. Жинкин. М., 1982.

Жинкин, Н. И. Язык. Речь. Творчество. Исследования по семиотике, психолингвистике, поэтике / Н. И. Жинкин. М., 1998.

Залевская, А. А. Слово в лексиконе человека. Психолингвистическое исследование / А. А. Залевская. Воронеж, 1990.

Караулов, Ю. Н. Ассоциативная грамматика / Ю. Н. Караулов. М., 1993.

Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. М., 1987.

Кацнельсон, С. Д. Типология языка и речевое мышление / С. Д. Кацнельсон. Л., 1972.

Клименко, А. П. Вопросы психолингвистического изучения семантики / А. П. Клименко. Минск, 1970.

Клименко, А. П. Лексическая системность и ее психолингвистическое изучение / А. П. Клименко. Минск, 1974.

Левицкий, В. В. Экспериментальные методы в семасиологии / В. В. Левицкий, И. А. Стернин. Воронеж, 1989.

Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. М.; СПб., 2003.

Леонтьев, А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания / А. А. Леонтьев. М., 1969.

Леонтьев, А. А. Слово в речевой деятельности / А. А. Леонтьев. М., 1965.

Лурия, А. Р. Основные проблемы нейролингвистики / А. Р. Лурия. М., 1975.

Лурия, А. Р. Язык и сознание / А. Р. Лурия. М., 1979.

Норман, Б. Ю. Грамматика говорящего / Б. Ю. Норман. СПб., 1994.

Норман, Б. Ю. Синтаксис речевой деятельности / Б. Ю. Норман. Минск, 1978.

Общая психолингвистика: хрестоматия / сост. К. Ф. Седов. М., 2004.

Основы теории речевой деятельности / отв. ред. А. А. Леонтьев. М., 1974.

Петренко, В. Ф. Психосемантика сознания / В. Ф. Петренко. М., 1988.

Психолингвистика: сб. статей / сост. А. М. Шахнарович. М., 1984.

Ремчукова, Е. Н. Креативный потенциал русской грамматики / Е. Н. Ремчукова. М., 2005.

Сахарный, Л. В. Введение в психолингвистику / Л. В. Сахарный. Л., 1989.

Слобин, Д. Психолингвистика / Д. Слобин, Дж. Грин. М., 1976.

Словарь ассоциативных норм русского языка / под ред. А. А. Леонтьева. М., 1977.

Супрун, А. Е. Лекции по теории речевой деятельности / А. Е. Супрун. Минск, 1996.

Теория речевой деятельности (Проблемы психолингвистики) / отв. ред. А. А. Леонтьев. М., 1968.

Ушакова, Т. Н. Речь: истоки и принципы развития / Т. Н. Ушакова. М., 2004.

Ушакова, Т. Н. Функциональные структуры второй сигнальной системы / Т. Н. Ушакова. М., 1974.

Ушакова, Т. Н. Речь человека в общении / Т. Н. Ушакова, Н. Д. Павлова, И. А. Зачесова. М., 1989.

Фрумкина, Р. М. Вероятность элементов текста и речевое поведение / Р. М. Фрумкина. М., 1971.

Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи / отв. ред. Е. С. Клубрякова. М., 1991.

Шарандин, А. Л. Курс лекций по лексической грамматике русского языка. Морфология / А. Л. Шарандин. Тамбов, 2001.

Carter, R. Language and Creativity. The art of common talk / R. Carter. London; New York, 2004.

Dietrich, R. Psycholinguistik / R. Dietrich. 2. Auflage. Weimar, 2007.

Foss, D. J. Psycholinguistics. An Introduction to the Psychology of Language / D. J. Foss, D. T. Hakes. New Jersey, 1978.

Hinrichs, U. Linguistik des Hörens. Hörverstehen und Metakommunikation im Russischen / U. Hinrichs. Wiesbaden, 1991.

Langacker, R. W. Grammar and Conceptualization / R. W. Langacker. Berlin; New York, 2000.

Kintsch, W. Memory and Cognition / W. Kintsch. Malabar, 1982.

New Horizons in Linguistics / ed. by J. Lyons. Harmondsworth, 1977.

Prideaux, G. D. Psycholinguistics. The Experimental Study of Language / G. D. Prideaux. New York; London, 1985.

Psycholinguistics. A Survey of Theory and Research Problems. Bloomington – London, 1965.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Лекция 1. Предпосылки возникновения психолингвистики	5
Лекция 2. Возникновение психолингвистики как науки	18
Лекция 3. Развитие психолингвистики и ее взаимодействие с иными направлениями в лингвистике	30
Лекция 4. Номинация как процесс. Названное и неназванное вокруг нас	42
Лекция 5. Звуковая оболочка слова, ее роль в речевой деятельности. Паронимия и звуко-символизм	54
Лекция 6. Организация словаря в сознании носителя языка. Ассоциативный эксперимент	67
Лекция 7. Сочетаемость слов под углом зрения психолингвистики. Человек – «текстовоспроизводящее устройство»?	79
Лекция 8. Грамматика под углом зрения психолингвистики. Синтаксические модели и их реализация	91
Лекция 9. Грамматика слушающего: закономерности восприятия и понимания текста	103
Лекция 10. Сложный характер рече-производства. Взаимодействие разных уровней языка в процессах речевой деятельности	115
Рекомендуемая литература	129

*В оформлении обложки использованы
фрагменты картины П. Филонова
«Симфония Шостаковича»*

Учебное издание

Норман Борис Юстинович

ОСНОВЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

Курс лекций

В авторской редакции

*Художник обложки Т. Ю. Таран
Технический редактор Г. М. Романчук
Корректор Л. Н. Масловская
Компьютерная верстка О. С. Виноградовой*

Ответственный за выпуск *Т. М. Турчиняк*

Подписано в печать 08.04.2011. Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура School Book. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,67.
Уч.-изд. л. 7,28. Тираж 100 экз. Зак.

Белорусский государственный университет.
ЛИ № 02330/0494425 от 08.04.2009.
Пр. Независимости, 4, 220030, Минск.

Отпечатано с оригинала-макета заказчика.
Республиканское унитарное предприятие
«Издательский центр Белорусского государственного университета».
ЛП № 02330/0494178 от 03.04.2009.
Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск.